



ТОМАС

МАНН

*ПРИЗНАНИЯ
АВАНТЮРИСТА
ФЕЛИКСА КРУЛЯ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Томас Манн

**Признания авантюриста
Феликса Круля**

«Издательство АСТ»

1954

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Манн Т.

Признания авантюриста Феликса Круля / Т. Манн —
«Издательство АСТ», 1954 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-138533-0

Самый необычный роман Томаса Манна, над которым писатель работал большую часть жизни, с 1911 по 1954 г., но так и не завершил его. Восхитительная пародия на «роман воспитания» и одновременно яркая стилизация под классический плутовской роман. Сын разорившегося винодела Феликс Круль прекрасен, как Аполлон, и плутоват, словно Гермес. Он идет по жизни смеясь, одинаково легко относится к победам и поражениям и использует людей в своих аферах настолько обаятельно и остроумно, что жертвы, как под гипнозом, сами помогают очаровательному мошеннику их обобрать. Круль потрясающе беспринципен, с совестью незнаком даже шапочно. Но вот парадокс: его невозможно считать негодяем. В сущности, он ничуть не хуже респектабельного буржуазного мира, в котором пробивает себе путь далеко не респектабельными методами...

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-138533-0

© Манн Т., 1954
© Издательство АСТ, 1954

Содержание

Книга первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	12
Глава четвертая	15
Глава пятая	17
Глава шестая	22
Глава седьмая	27
Глава восьмая	29
Глава девятая	31
Книга вторая	34
Глава первая	34
Глава вторая	35
Глава третья	38
Глава четвертая	41
Глава пятая	47
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Томас Манн

Признания авантюриста Феликса Круля

Thomas Mann

BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS FELIX KRULL

Originally published as «Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull»

© Thomas Mann, 1954

© Перевод. Н. Ман, наследники, 2022

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

Книга первая

Глава первая

Сейчас, когда я взялся за перо, чтобы на досуге и в полном уединении (я, кстати сказать, еще здоров, хотя и чувствую себя усталым, очень усталым, так что писать придется понемногу, с передышками), итак, когда я собрался четким, красивым почерком, который мне дан от Бога, поверить долготерпеливой бумаге свою исповедь, меня вдруг взяло сомнение – достаточно ли я просвещенный и образованный человек, чтобы справиться с этой задачей. Но поелику я собираюсь рассказывать о своей собственной жизни, своих собственных страстях и заблуждениях, то материал, разумеется, мне знаком досконально, и сомневаюсь я лишь в своем умении с должным изяществом и тактом излагать события; хотя тут, по-моему, законченное образование играет меньшую роль, нежели прирожденные способности и светское воспитание. А таковое я получил, ибо происхожу из, что называется, «хорошей», хотя и непутевой, бюргерской семьи. Я и моя сестра Олимпия довольно долгое время находились под присмотром гувернантки из Веве, которой впоследствии пришлось покинуть наш дом по причине чисто женского соперничества, возникшего между ней и моей матерью. Дело касалось моего отца. Мой крестный Шиммельпристер, с которым меня связывали самые дружеские отношения, был весьма уважаемым художником, и в нашем городишке его неизменно величали господином профессором, хотя этот почетный титул вряд ли был официально ему присвоен. Отец же мой, несмотря на свою тучность, отличался удивительной легкостью движений и очень заботился об изысканной ясности своей речи. В его жилах текла унаследованная от бабки французская кровь; годы учения он провел во Франции и уверял, что знает Париж как свои пять пальцев. Ему нравилось вставлять в разговор словечки вроде: «c'est ça», «épatant» или «parfaitement»¹, – произношение у него было великолепное; любил он и обороты вроде «О, я это гутирую» – и до конца своих дней оставался любимцем женщин. Но возвращаюсь к моим врожденным стилистическим способностям; на них я полагался всю свою жизнь и думаю, что могу положиться и сейчас, при этом первом своем выступлении на литературном поприще. Вообще же свои заметки я буду писать с полнейшим чистосердечием, не страшась упреков ни в тщеславии, ни даже в бесстыдстве, ибо что проку в воспоминаниях, ежели они не откровенны!

Я родился в Прирейнской области, в благословенном краю, где мягок не только климат, но и рельеф местности не знает резких переходов, в краю густонаселенном, обильном веселыми городами и деревушками и едва ли не самом очаровательном на земле. Здесь, в сиянье полуденного солнца, защищенные рейнскими горами от суровых ветров, цветут и зеленеют селенья, при одном имени которых радостно бьется сердце бражника: Рауэнталь, Иоганнисберг, Рюдесгейм; здесь же приютился и почтенный городок, где за несколько лет до славного основания Германской империи я впервые увидел свет. Расположенный чуть западнее колена, образуемого Рейном у города Майнца, и знаменитый своими шипучими винами, он насчитывает около четырех тысяч жителей и является главным местом стоянки пароходов, снующих вверх и вниз по течению.

До веселого Майнца оттуда рукой подать, так же как и до прославленных курортов Висбадена, Гамбурга, Лангеншвальбаха, а до Шлангенбада и вовсе не больше получаса езды по узкоколейке. В погожие дни мои родители, сестра и я часто совершали поездки в экипаже, на пароходе или по железной дороге в направлении всех стран света, ибо красоты природы

¹ Это так; удивительно; чудесно (*фр.*).

привлекали нас не меньше, чем достопримечательности, созданные рукой человека. Как сейчас вижу отца: в клетчатом просторном костюме он сидит вместе с нами под навесом какой-нибудь харчевни, довольно далеко от стола – брюшко мешало ему придвинуться ближе – и с наслаждением уписывает крабов, запивая их золотистым вином. Крестный Шиммельпристер тоже частенько ездил с нами и сквозь круглые очки зорко вглядывался в местность и в людей, равно принимая великое и малое в свою артистическую душу.

Мой бедный отец был владельцем фирмы «Энгельберт Круль», выпускавшей шипучее вино марки «Лорелея экстра кюве», ныне уже позабытой. Погреба фирмы находились на берегу Рейна, неподалеку от причала. Мальчиком я нередко бродил под их сумрачными сводами, погруженный в задумчивость, прохаживался меж высоких стеллажей и рассматривал полчища бутылок, которые в наклонном положении громоздились одна над другой до самого верху. «Вот вы лежите, – думал я (хотя, конечно, в ту пору еще не облакал свои мысли в столь точные слова), – лежите, окутанные сумраком подземелья, а в вашей утробе потихоньку зреет колючий золотистый сок, который со временем участит биение многих сердец, заставит просветлеть не одну пару глаз. Сейчас вы нагие, невзрачные, но придет день – и, великолепно разубранные, вы покинете подземный мир, чтобы на празднике, на свадьбе, в отдельном кабинете задорно выстрелить пробкой в потолок и вселить в захмелевших людей радостное безрассудство». Мальчиком я и вправду говорил что-то в этом роде и не без основания: фирма «Энгельберт Круль» придавала огромное значение внешнему виду своих бутылок, то есть тому, что на языке виноделов называется «прической». Пробки, окруженные серебряной проволокой и позолоченными веревочками, были залиты красным лаком; мало того, сбоку на золотом шнуре болталась торжественная круглая печать, как на папских буллах или старинных имперских грамотах; горлышко щедро обертывалось станиолем, а ниже красовалась золотообрезанная этикетка, эскиз которой, по заказу фирмы, сделал крестный Шиммельпристер. На ней, кроме многочисленных гербов и звезд, вензеля моего отца и вытисненного золотыми буквами названия «Лорелея экстра кюве», была еще изображена женщина, всю одежду которой составляли браслеты и ожерелья. Закинув ногу на ногу, она сидела на утесе, держа гребень в высоко поднятой руке, и чесала свои золотые волосы. Надо сказать, что качество вина не вполне соответствовало этому блистательному оформлению.

– Круль, – говаривал отцу крестный Шиммельпристер, – я не хочу вас огорчать, но полиции следовало бы запретить ваше вино: неделю назад я соблазнился, раскупорил полбутылки, и вот мой организм еще и по сей час не оправился от этой авантюры. Скажите на милость, какую дрянь вы туда добавляете – керосин или сивуху? Короче говоря, вы отравитель. Бойтесь правосудия!

Мой бедный отец конфузился: он был слабый человек и пасовал перед резкой критикой.

– Вам легко насмешничать, Шиммельпристер, – отвечал он, по привычке поглаживая свое брюшко кончиками пальцев, – а мне надо выпускать дешевый товар. Очень уж у нас сильно предубеждение против отечественной продукции. Одним словом, я потчую людей тем, чего они от меня ждут. Вдобавок меня еще и конкуренция душит, я уж и так едва держусь. – Вот что обычно отвечал мой отец.

Мы жили в одной из тех очаровательных вилл, что во множестве лепятся по отлогим берегам Рейна и так красят прирейнский ландшафт. Сад наш, спускавшийся к реке, был щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса фигурками; среди них на постаменте покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший лица. Кроме того, в саду имелись эолова арфа, несколько гротов и фонтан, струи которого мудрено сплетались в воздухе и ниспадали в бассейн, где резвились серебристые рыбки.

Внутри наш дом, в согласии со вкусом отца, был убран изящно и весело. Уютные ниши и эркеры так и манили к отдыху; в одном из них даже стояла настоящая прялка. На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках каких только не было безделушек: стаканчики, раковины,

полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами; по диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пестро расшитые шелками, – отец любил понежиться; карнизы на окнах имели форму алебард; в дверных проемах висели легкие занавеси из тростника и разноцветных бисерных нитей – те, что на первый взгляд кажутся сплошной стеной, но при первом прикосновении расступаются с чуть слышным стуком и шелестом, чтобы тотчас вновь сомкнуться за вошедшим. В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроумное устройство: покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, оно тоненько выводило начало песни «Жизни возрадуйтесь!».

Глава вторая

В этом доме в дождливый и теплый майский день – кстати сказать, в воскресенье – я появился на свет. Отныне я постараюсь не забегать вперед, а неукоснительно придерживаться хронологии. Рождение мое, если верить рассказам домашних, протекало медленно и даже не без искусственного вмешательства, к которому прибег тогдашний наш врач, доктор Мекум, главным образом потому, что я – если только я вправе так обозначать то далекое и вовсе чужое мне существо – вел себя очень бездеятельно и безучастно, почти не разделяя усилий матери и не выказывая ни малейшей охоты явиться в тот мир, который впоследствии мне суждено было столь страстно полюбить. Тем не менее я оказался здоровым, крепким ребенком, которому безусловно шло на пользу молоко заботливо выбранной кормилицы. Раздумывая над странной своей вялостью и явной неохотой сменить мрак материнского лона на дневной свет, я пришел к выводу, что все это стоит в прямой связи с моей удивительной сонливостью, я бы даже сказал – с даром сна, проявившимся у меня еще в младенчестве. Говорят, что ребенком я не был ни крикуном, ни непоседой, а, напротив, к вящему удовольствию моих нянек, очень любил поспать или, на худой конец, подремать.

И хотя впоследствии меня так влекло в мир, к людям, что я являлся им даже под различными именами, ночь и сон всегда были как бы второй моей жизнью; я легко засыпал, даже не будучи усталым, впадал в глубокое темное забытие и когда просыпался после десяти – двенадцати, даже четырнадцатичасового сна, то чувствовал себя куда более бодрым и счастливым, чем после дневных впечатлений и радостей.

Это необычное упоенье сном, казалось, стоит в прямом противоречии с тем неутомимым влечением к жизни и любви, которое владело мной и о котором я еще буду говорить в свое время. Как сказано, я не раз возвращался мыслью к этому странному явлению и временами даже ясно осознавал, что эти две мои особенности не только не противоречат одна другой, но, напротив, неразрывно между собою связаны. Теперь, когда я – всего только сорокалетний человек, но состарившийся, утомленный и утративший жадное любопытство к людям – живу в полном уединении, «дар сна» начинает изменять мне. Сон мой стал кратким, неглубоким, чутким, тогда как в свое время в тюрьме, где для сна была пропасть времени, я спал даже крепче, чем на мягких постелях Палас-отеля. Но я опять согрешил и забежал вперед.

Мои домочадцы часто твердили мне, что ребенок, родившийся в воскресенье, – счастливец. И хотя я рос в семье, чуждой всякого суеверия, но этому обстоятельству, в сопоставлении с именем Феликс (меня нарекли так в честь крестного Шиммельпристера) и моей располагающей внешности, я почему-то приписывал особое таинственное значение. Да, вера в свое счастье, в то, что я любимец богов, постоянно жила во мне и, несмотря ни на что, меня не обманула. Странная особенность моей жизни – все страдания и муки, выпавшие мне на долю, я воспринимал как нечто случайное, мне не предопределенное, и сквозь них для меня неизменно мерцало солнечным светом мое истинное предназначение... Я отклонился в сторону, но сейчас уже перейду к воссозданию (хотя бы в общих чертах) картины моего детства.

Отъявленный фантазер, я постоянно веселил своих домашних всевозможными выдумками и затеями. Мне помнится, правда, может быть, по рассказам взрослых, что совсем еще малышом, в платице, я любил воображать себя кайзером и часами с необыкновенным упорством играл в эту игру. Сидя в колясочке, которую моя няня возила по саду или по обширной прихожей нашего дома, я, почему – неизвестно, силился как можно больше опустить нижнюю губу, отчего верхняя растягивалась чуть ли не до ушей, и так часто моргал глазами, что слезы набегали на них, впрочем, не только от быстрого движения век, но и от внутренней моей растроганности. Притихший, потрясенный сознанием своего старческого величия, я сидел в колясочке, а нянька рассказывала всем встречным и поперечным о том, кого она катает, так

как пренебрежение моей ребячьей выдумкой меня бы страшно огорчило. «Вот везу гулять кайзера», – объявляла нянька и прикладывала ладонь к виску, – так по ее представлению отдавали честь, – в ответ на что прохожие отвешивали мне поклоны. Крестный Шиммельпристер любил мне подыгрывать, чем еще больше укреплял меня в сознании моего величия. «Смотрите-ка, вот едет наш седовласый герой», – восклицал он при встрече и склонялся передо мной чуть ли не до земли. Затем он становился на моем пути следования, изображая народ, кричал «виват», подбрасывал в воздух шляпу, трость, даже очки и смеялся до колик в животе, видя, как от избытка растроганности слезы скатываются у меня по растянутой верхней губе.

Этой игрой я увлекался и в более поздние годы, когда уже не мог рассчитывать на поддержку взрослых. Впрочем, я в ней и не нуждался, а скорее даже радовался самовольной независимости моей фантазии. Так, например, я просыпался утром с твердым намерением весь день быть восемнадцатилетним принцем по имени Карл и твердо держался этого решения не только до вечера, но много дней подряд.

Неоценимое преимущество этой игры состояло в том, что ее можно было ни на мгновение не прерывать, даже во время невыносимо скучного сидения в классе. Я рядился в снисходительное величие, вел остроумные и любезные разговоры с гувернером или адъютантом, которых выдумывал себе в помощь, и был неописуемо счастлив и горд тайной своего возвышенного августейшего существования. Какой дивный дар фантазии, какие наслаждения она нам доставляет! Глупыми и жалкими казались мне другие мальчишки, явно лишенные этого дара, а следовательно, и скрытых радостей, которые я без каких бы то ни было внешних приготовлений, одним только сосредоточением воли извлекал из него! Впрочем, обыкновенным мальчишкам, со щетинистой шевелюрой и красными руками, было бы уж очень не к лицу воображать себя принцами. У меня же были редко встречающиеся у мужчин белокурые шелковистые волосы, которые в сочетании с серо-голубыми глазами так странно контрастировали с золотистой смуглостью моей кожи, что на первый взгляд никто не мог даже определить – блондин я или брюнет, и меня с одинаковым успехом принимали то за того, то за другого. Я очень рано начал следить за своими руками, не слишком узкими, но приятной формы, которые, кстати сказать, не потели, оставаясь всегда умеренно теплыми и сухими; ногти мои тоже радовали глаз своим изяществом. В голосе у меня, еще до того, как он установился, было что-то ласкавшее слух, и наедине с собою, во время долгих и занимательных разговоров с невидимым гувернером на изобретенном мною тарабарском наречии, я с удовольствием прислушивался к его звуку. Подобные внешние преимущества – вещь довольно невесомая; определению здесь поддается разве что эффект, ими производимый, – говорить же об этом трудно, даже человеку, свободно владеющему словом. Так или иначе, но мне было очевидно, что я создан из более благородного материала, чем мои сверстники. Говоря это, я не боюсь упрека в самовлюбленности. Меня такой упрек задеть не может, я был бы лицемером или дураком, если бы оценивал себя как дюжинный товар. Поставив себе за правило неукоснительно держаться истины, я повторяю, что был создан из благороднейшего материала.

Подрастая в одиночестве (сестра Олимпия была на несколько лет старше меня), я питал склонность к необычным, мудреным занятиям, примеры которых сейчас приведу. Во-первых, мне вздумалось на самом себе изучать и наблюдать силу человеческой воли, таинственную силу, способную к проявлениям почти сверхъестественным. Всем известно, что зрачок наш сужается и расширяется в зависимости от силы света, попадающего в него. И вот я вбил себе в голову подчинить это произвольное движение своенравных мускулов моей воле. Я становился перед зеркалом и, стараясь выключить любую другую мысль, сосредоточивал всю свою душевную силу на приказе зрачкам – сузиться или расшириться по моему усмотрению. И смею заверить, что мои настойчивые упражнения увенчались полным успехом. Поначалу, несмотря на внутреннее напряжение – такое, что пот выступал у меня на лбу и кровь отливала от лица, – зрачки мои только неравномерно мерцали; но со временем я действительно научился прика-

зывать им суживаться до крохотных точек или расширяться до больших блестящих черных кругов. Удовлетворение, которое я испытывал от такого успеха, уже граничило со страхом; я содрогался, думая о тайнах человеческой природы.

Другая фантазия, очень меня занимавшая и поныне еще не утратившая для меня известного смысла и обаяния, состояла в следующем. «Что желательнее, – спрашивал я себя, – видеть мир малым или великим?»

Мысль моя шла так: для великих людей – полководцев, крупных государственных умов, прирожденных завоевателей и властелинов, мощно возвышающихся над толпой, мир, должно быть, выглядит малым, как шахматная доска, иначе у них недостало бы жестокости и спокойствия духа на то, чтобы дерзко и беззаботно подчинять своим планам счастье и горе отдельных людей. Но, с другой стороны, подобная ограниченность кругозора, несомненно, может сделать человека никчемным, ибо тому, кто рано научается пренебрежению и ни во что не ставит мир и человечество, грозит опасность увязнуть в безразличии, вялости и воздействию на людские души хмуρο предпочесть собственный покой. Я уж не говорю о том, что бесчувственность такого человека, его безучастность и неподвижность, на каждом шагу оскорбляя людское самолюбие, отрежут ему путь даже к случайному жизненному успеху. «Не разумнее ли, не лучше ли, – спрашивал я себя, – видеть в мире и в человеке нечто прекрасное, важное, достойное любых усилий, самого трудного служения, чтобы, в свою очередь, добиться известного почета и доброй славы? Но против такого уважительного виденья мира говорит то, что оно с легкостью может привести к недооценке себя, к преувеличенной застенчивости, и тогда жизнь с насмешливой улыбкой пронесется мимо робкого и почтительного юнца в компании более мужественных любовников. Но, с другой стороны, благоговейная вера в жизнь дает человеку значительные преимущества. Ибо тот, кто все и всех принимает всерьез, не только будет приятен людям и, таким образом, добьется известного успеха в жизни, но самые его мысли и поступки неизбежно станут серьезными, страстными, ответственными, что, конечно, возвысит его в глазах людей, внушит им уважение и будет способствовать его значительному продвижению на жизненном поприще». Так я размышлял, взвешивая все «за» и «против».

Сам я непроизвольно, просто в соответствии со своей натурой, пользовался только второй возможностью; для меня мир, великий и бесконечно привлекательный, всегда был дарителем несказанно сладостных блаженств, достойным любых усилий, заслуживающим самых страстных домогательств.

Глава третья

Такие философские эксперименты внутренне отобщали меня от моих сверстников и школьных товарищей, которые предавались развлечениям, более принятым в нашем городишке; с другой стороны, всех этих мальчиков, сыновей помещиков-виноделов и чиновников, родители предостерегали против меня и, как вскоре выяснилось, даже запрещали им со мной водиться. Один из них, которого я попробовал пригласить к себе, сказал мне прямо в лицо, что дружить со мной и бывать у меня ему запрещено, так как наш дом недостаточно благоприличен. Меня это больно задело, и дружба с ним, в общем ничем не привлекательная, стала казаться мне весьма и весьма заманчивой. Но, по правде говоря, мнение, сложившееся в городке о нашем доме, было небезосновательно.

Я уже в самом начале упомянул о расстройстве, внесенном в нашу семейную жизнь гувернанткой из Веве. Отец действительно приволокнулся за нею и достиг вожделенной цели, отчего между моими родителями возникла размолвка, в результате которой отец на несколько месяцев уехал в Майнц – это случалось уже не впервые – передохнуть и пожить холостяцкой жизнью. Вообще же моя мать, женщина мало интересная и не особенно умная, была не права, столь сурово обходясь с отцом, ибо сама, так же как и моя сестра Олимпия (толстая и весьма плотоядная особа, впоследствии не без успеха подвизавшаяся на опереточной сцене), в нравственном отношении стояла ничуть не выше его; только легкомыслию отца было присуще известное обаяние, тогда как в их упорной жажде наслаждений оно начисто отсутствовало.

Мать и дочь связывала на редкость интимная дружба; однажды, например, мне довелось видеть, как старшая сантиметром измеряла объем бедер младшей, сравнивая их со своими; я потом несколько часов кряду ломал себе голову над тем, что бы это могло значить. В другой раз, когда я уже смутно разбирался во всех таких делах, хотя ничего еще не мог определить словами, я стал тайным свидетелем того, как они обе донимали игривыми приставаниями работавшего у нас маляра – темноглазого паренька в белой блузе – и наконец до того его разгорячили, что он, не смыв зеленых усов, которые эти дамы ему намалевали масляной краской, как одержимый гнался за ними до самого амбара, где они укрылись с отчаянным визгом.

Так как мои родители смертельно скучали друг с другом, то к ним часто наезжали гости из Майнца и Висбадена, и тогда в доме становилось шумно и парадно. Общество у нас собиралось самое разношерстное: несколько молодых фабрикантов, актеры и актрисы, один армейский лейтенант болезненного вида, позднее сватавшийся к моей сестре Олимпии, еврей-банкир с супругой, которая удручающим образом выпирала из своего расшитого стеклярусом платья, журналист в бархатной жилетке и с прядью, упавшей на лоб, всякий раз приводивший с собой новую подругу жизни, и множество других. Обычно гости съезжались к обеду, подававшемуся в семь часов; тогда шум, звуки рояля, шарканье танцующих, смех и взвизгивания уже не смолкали всю ночь напролет. Но высшей своей точки буря веселья достигала на Масленицу и во время сбора винограда. В такие дни мой отец, очень искусный и сведущий в пиротехнике, собственноручно пускал великолепные фейерверки; фаянсовые гномы, залитые магическим светом, выступали из-за кустов, а прихотливые маски, в которые рядились собравшиеся, способствовали еще большей распушенности. Я в то время был учеником реального училища, и когда утром, часов в семь или в половине восьмого, только что умывшись холодной водой, я шел в столовую завтракать, гости, расслабленные, помятые, шурясь от дневного света, еще сидели за кофе и ликерами; меня приветствовали громкими криками и усаживали за стол.

Подростком я уже присутствовал на обедах и увеселениях, которые за ними следовали, наравне с моей сестрой Олимпией. У нас в доме вообще был хороший стол, и отец за обедом всегда пил шампанское пополам с содовой водой. Но при гостях подавалось бесконечное множество яств, великолепно приготовленных первоклассным поваром из Висбадена с помощью

нашей кухарки; пикантные, возбуждающие аппетит кушанья умело чередовались с освежающими, «Лорелея экстра кюве» лилось рекой, но, кроме него, пили и хорошие вина, например «Бернкаслер доктор», букет которого был мне особенно приятен. В более зрелые годы я отведал еще немало превосходных вин и научился с небрежным видом заказывать «Гран вэн Шато Марго» и «Гран крЮ Шато Мутон Ротшильд».

Я люблю вспоминать, как отец со своей седой остроконечной бородкой, в неизменном белом жилете, плотно облежавшем его брюшко, председательствовал за столом. У него был слабый голос и привычка со сконфуженным выражением опускать глаза, но довольство явно читалось на его красном лоснящемся лице. «C'est ça, – говорил он, – épatant, parfaitement», – и изящными движениями пальцев с чуть загнутыми кверху кончиками орудовал бокалами, салфеткой, ножами и вилками. Мать и сестра в это время предавались бессмысленному кокетству и хихикали, прячась за своими веерами.

После обеда, когда сигарный дым уже плавал вокруг газовой люстры, начинались танцы и игра в фанты. Поздним вечером меня отсылали в постель, но так как музыка и шум все равно не давали мне уснуть, то я обычно вставал, набрасывал на себя красное шерстяное одеяло и, живописно в него драпируясь, к великому удовольствию женщин, возвращался в столовую. Всевозможные вина, закуски, жженка, лимонады, селедочные паштеты и винные желе сменяли друг друга до самого утреннего кофе. Танцы становились непристойными, фанты служили предлогом для поцелуев и других интимных прикосновений. Женщины в низко вырезанных платьях со смехом перегибались через спинки стульев, волнуя кавалеров выставленными напоказ прелестями, но высшей точки все это достигало, когда кто-нибудь внезапно гасил свет: тут уж кутерьма поднималась невообразимая.

Эти-то веселые сборища, или, вернее, связанные с ними расходы, и вызывали в городке подозрительное отношение к нашему дому; поговаривали (увы, с полным на то основанием), что дела моего бедного отца из рук вон плохи и что дорогостоящие фейерверки и обеды безусловно вконец разорят его. Такое недоверие общества, которое я при моей чуткости довольно рано обнаружил, в соединении с некоторыми странностями моего характера, обрекавшими меня на одиночество, причиняло мне немало горя. Тем больше радости доставило мне одно приключение, которое я и сейчас с удовольствием припоминаю во всех его подробностях.

Мне было восемь лет, когда вся наша семья выехала на лето в близлежащий знаменитый курорт Лангеншвальбах. Отец лечился там грязевыми ваннами от приступов подагры, время от времени ему досаждавших, а мать и сестра обращали на себя внимание публики преувеличенно модными шляпами.

Там, как, впрочем, и везде, компания, группировавшаяся вокруг нас, приносила нам мало чести. Жители ближних мест нас избегали; аристократические иностранцы скупались на завязывание знакомства и держались особняком, как и положено аристократам. Те же, что разделяли с нами свой досуг, никак не могли считаться сливками общества. И все-таки мне было хорошо в Лангеншвальбахе; я всегда любил пребывание на курортах и впоследствии неоднократно избирал их ареной своей деятельности. Спокойствие, беззаботная и размеренная жизнь, встречи с холеными аристократами на спортивных площадках и в парках – все это мне по душе. Но в то лето ничто не привлекало меня больше, чем ежедневные концерты отличного курортного оркестра. Я всю жизнь был фанатическим поклонником музыки – этого обворожительного искусства, хотя сам и не выучился играть ни на одном инструменте. Уже тогда, совсем еще ребенок, я не в силах был уйти из павильона, где одетые в изящную форму оркестранты под управлением маленького капельмейстера с цыганским лицом исполняли всевозможные поурри и отрывки из опер. Часами сидел я на ступеньках этого изящного храма музыки, замороженный прелестным хороводом упорядоченных звуков, и в то же время следил горящими глазами за движениями исполнителей, так по-разному обходившихся со своими инструментами. Больше всего меня поражали скрипачи. И дома, вернее – в гостинице, я раз-

влекал своих тем, что при помощи двух палок – подлиннее и покорооче – старался как можно более похоже воспроизвести повадки первой скрипки: зыбкие движения левой руки, заставляющей инструмент издавать прочувствованные звуки, мягкий переход, стремительная беглость пальцев при виртуозных пассажах и каденциях, точный и ловкий прогиб правого запястья при ведении смычка, самоуглубленное, напряженно вдумчивое выражение лица, щекой прижимающегося к деке, – все это я проделывал с таким совершенством, что мои домашние, и в первую очередь отец, покатывались со смеху. И вот однажды, будучи в отличнейшем расположении духа, вызванном благотворным действием вина, отец вдруг отзывает в сторонку длинноволового и почти безгласного капельмейстера и уговаривается с ним разыграть маленькую комедию. По дешевке приобретается небольшая скрипка, смычок тщательно смазывается вазелином. В обычное время на мой внешний вид никто особого внимания не обращал, но теперь мне купили матросский костюм, шелковые чулки и блестящие, как зеркало, лакированные туфли. Однажды в воскресенье, в часы гулянья, излюбленные курортной публикой, я стоял во всех своих обновках рядом с маленьким капельмейстером у ramпы нашего храма музыки, участвуя в исполнении венгерского танца. Это участие выразалось в том, что я своей скрипкой и навазелиненным смычком проделывал в точности то же самое, что и двумя палками. Успех я имел неслыханный. Публика – избранная и та, что попроще, – валом валила со всех сторон и толпилась у павильона. Все глазели на вундеркинда. Бледность и самозабвенное выражение моего лица, кудрявая прядь, то и дело спадавшая мне на глаза, детские руки, выглядывавшие из синих рукавов, широких у плеча и сужающихся к запястью, – одним словом, вся моя трогательная и необычная фигурка умиляла сердца. Когда я кончил, широким и энергичным жестом коснувшись всех струн зараз, бурная овация, мешающаяся с криками «браво», потрясла здание. Меня стаскивают на землю – маленький капельмейстер уже успел припрятать мою скрипку и смычок. На меня сыплются дождем похвалы, ласки, нежные прозвища. Аристократические дамы и господа гладят мне волосы, щеки, руки, называют меня чертенком и ангельчиком. Русская княгиня, старуха с толстыми седыми буклями, затянутая в бледно-лиловые шелка, протягивает унизанные кольцами руки, сжимает мою голову и целует меня в покрытый испариной лоб. Затем она судорожно отстегивает сверкающую бриллиантами брошь в форме лиры и, не переставая что-то бормотать по-французски, прикалывает ее к моей курточке. Подходят мои родители; отец называет свое имя и спешит оправдать несовершенство моей игры моим еще совсем детским возрастом. Меня тащат в кондитерскую. За тремя столиками наперебой потчуют шоколадом, закармливают пирожными. Маленькие аристократы, красивые дети богача графа Зибенклингена, на которых я частенько посматривал с тоской, получая в ответ лишь удивленные, холодные взгляды, учтиво просят меня сыграть с ними партию в крокет, и, покуда наши родители вместе пьют кофе, я, разгоряченный, опьяненный счастьем, с бриллиантовой булавкой на груди, иду с ними на крокетную площадку.

То был один из лучших дней моей жизни, если не самый лучший. Многие считали, что я должен выступить еще раз, даже дирекция курорта обратилась к отцу с этой просьбой. Но отец ответил, что дал свое согласие только однажды, вообще же публичные выступления не соответствуют моему положению в обществе. К тому же и наше пребывание в Лангеншвальбахе идет к концу...

Глава четвертая

Теперь я хочу рассказать о своем крестном Шиммельпристере, человеке безусловно незаурядном. Начну с внешности. Фигура у него была приземистая; волосы, рано поседевшие и жидкие, разделенные пробором над самым ухом, он зачесывал на одну сторону. Его бритое лицо с поджатыми губами и крючковатым носом, на котором сидели громадные круглые очки в целлулоидной оправе, привлекавшее к себе внимание удивительной величиной безбрового лба, свидетельствовало об уме остром и озлобленном; крестный, например, давал следующее ипохондрическое толкование своему имени.

– Природа, – говорил он, – это гниенье и плесень, и я предназначен быть ее пастырем, отсюда и мое имя Шиммельпристер. А вот почему я зовусь Феликсом, это уж одному Богу известно.

Родом из Кельна, он был принят там в лучших домах и даже играл видную роль в обществе, являясь неизменным распорядителем карнавалов. В силу обстоятельств или какого-то происшествия, нам это оставалось неясным, ему пришлось убраться оттуда; он перекочевал в наш городишко и вскоре, еще задолго до моего рождения, сделался другом нашего дома. Постоянный посетитель всех наших вечеров, крестный пользовался большим уважением собиравшегося у нас общества. Дамы взвизгивали и закрывали лицо руками, когда он, поджав губы, внимательно и в то же время безразлично, словно штудируя какой-то неодушевленный предмет, вглядывался в них сквозь свои совиные очки.

– Ох уж этот художник! – кричали они. – Как смотрит! Верно, видит насквозь, до самого сердца. Смилуйтесь, профессор, не пугайте нас!

И хотя все его уважали, сам он не слишком высоко ставил свое призвание и часто высказывал довольно сомнительные суждения о природе художника.

– Фидий, – говорил он, – был человеком недюжинного таланта, о чем свидетельствует хотя бы то, что его обвинили в воровстве и бросили в афинскую тюрьму; он присвоил золото и слоновую кость, отпущенные ему для статуи Афины. Перикл, его почитатель, устроил ему побег из тюрьмы (чем этот прославленный ценитель и доказал, что разбирается не только в искусстве, но, что гораздо важнее, и в художниках), и Фидий отправился в Олимпию. Там ему было поручено создать из золота и слоновой кости великого Зевса. Что же он сделал? Опять проворовался. И умер в олимпийской тюрьме. Характерный случай. Но таковы люди. Они с восторгом принимают талант, который уже сам по себе странность, но странностей, с ним связанных, и может быть – неразрывно, принять не только не хотят, но наотрез отказываются даже понимать их.

Так говорил мой крестный. Я дословно воспроизвел его рассказ, ибо он часто повторял его и всегда в тех же самых выражениях.

Мы, как сказано, жили с ним душа в душу. Он очень благоволил ко мне, и я с годами все чаще служил ему натурщиком; мне это доставляло большое удовольствие, тем более что он всякий раз рядил меня в другие костюмы и уборы, которых у него была целая коллекция. Мастерская крестного с одним большим окном напоминала ветошную лавку. Она помещалась под крышей небольшого домика у самого Рейна, единственными жильцами которого были он и его старая домоправительница. Там я часами, по его выражению, «сидел» для него на деревянном, грубо сколоченном помосте, а он орудовал у мольберта кистями и шпателем. Надо заметить, что я позировал и обнаженный для большой картины на сюжет из греческой мифологии, которая должна была украсить столовую некоего майнцского виноторговца. За это время я наслушался немало похвал от художника, ибо кожа у меня была золотистая, рост такой, как положено греческому богу, фигура стройная, крепкая, без излишне развитой мускулатуры и безупречная по своим пропорциям. Сеансы эти занимают совсем особое место в моих вос-

поминаниях. Но еще интереснее были переодевания, происходившие вне мастерской крестного. Случалось, что, собираясь к нам вечером, он заранее присылал целый тюк всевозможных костюмов, париков, оружия и после ужина обряжал меня, чтобы затем набросать на куске картона в том виде, который ему на сей раз приходился по вкусу.

– Этот мальчик рожден для маскарада, – говорил он, радуясь, что любой костюм мне к лицу, любое платье сидит на мне естественно и привычно.

И правда, кем бы я ни наряжался: римским флейтистом в коротеньких одеждах и венке из роз на черных кудрях; английским дворянином в жестком атласе, с кружевным воротником и в шляпе с перьями; испанским тореадором в усыпанном блестками ярком болеро и широкополой фетровой шляпе; юным аббатом эпохи пудренных париков, в скуфейке, в чинном белом галстуке, плаще и туфлях с пряжками; австрийским офицером в белом мундире при шпаге и шарфе или крестьянином из горных немецких деревень в подбитых гвоздями башмаках и с хвостом серны на зеленой шляпе, – всякий раз людям казалось, что я рожден именно для этого костюма, да я и сам, смотрясь в зеркало, невольно приходил к тому же выводу. Более того, крестный уверял, что мое лицо, разумеется при соответствующем костюме и парике, становится характерным не только для определенного сословия и национальности, но даже для определенной эпохи; а сам он поучал нас, что время неизбежно накладывает на своих детей особую физиогномическую печать. Итак, если верить крестному, то я и в облике средневекового флорентийского шеголя, и в пышном парике, который в позднейшее столетие являлся непременным украшением знатного юноши, казался сошедшим с портрета тех времен. Ах, что за чудные это были минуты! Но они быстро пролетали, и когда я вновь облачался в тусклое будничное платье, мной овладевали печаль и жгучая тоска, ощущение бесконечной, неопишущей скуки, так что остаток вечера я проводил, ни слова не говоря, в подавленности и унынии.

На этом кончаю о Шиммельпристере. Позднее, в конце моего изнурительного пути, этот превосходный человек снова решительнейшим образом спасительно вмешается в мою жизнь...

Глава пятая

Из дальнейших юношеских впечатлений мне ярче всего помнится день, когда меня впервые взяли в Висбаденский театр. Вообще же я должен заранее предупредить, что, рисуя свои детские годы, не собираюсь строго придерживаться хронологического порядка, а буду рассматривать эту пору как единое целое, произвольно выбирая из него, что мне вздумается. Для греческого бога я позировал крестному Шиммельпристеру в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, следовательно, совсем уже юношей, хотя и застрявшим в средней школе. Первое же посещение театра падает на более ранние годы – мне едва минуло четырнадцать. В то время я (как будет видно из дальнейшего) уже в известной мере достиг духовной и физической зрелости и был очень восприимчив ко всем жизненным впечатлениям. Все, что я увидел в тот вечер, глубоко врезалось мне в душу и дало повод для нескончаемых размышлений.

До театра мы побывали в «Венском кафе», где пили сладкий пунш, тогда как отец потягивал абсент через соломинку. Это уже само по себе привело меня в состояние сильного возбуждения. Но кто опишет жар и лихорадку, потрясшие все мое существо, когда извозчик наконец доставил нас к цели и ярко освещенный зал гостеприимно распахнул перед нами свои двери! Женщины в ложах, обмахивающие веерами полуобнаженную грудь; мужчины, склоняющиеся над ними в разговоре; жужжанье толпы в креслах, где были и наши места; запах светильного газа, ароматы, источаемые волосами и платьями; приглушенный гул настраиваемых инструментов; щедро расписанный плафон, занавес, кишачий обнаженными гениями, и целые каскады розовых купидонов мал мала меньше. Как все это будоражило юные чувства, как подготавливало к восприятию необычного.

Подобное скопление людей в высоком роскошном зале доньше мне приходилось видеть только в церкви, и правда, театр – это величаво расчлененное пространство, где на возвышенном и просветленном поприще в волнах музыки пели, танцевали, размеренно двигались и совершали положенные им действия пестро одетые избранники судьбы – представился мне церковью, храмом наслаждения. В этом храме скрытая в тени и жаждущая душевной улады толпа разинув рты взирала на свои заветные идеалы, ожившие на сцене – в сфере ясности и совершенства.

В тот вечер давали довольно непритязательную пьесу – плод легкомысленной музыки, оперетку, название которой я, к сожалению, позабыл. Действие происходило в Париже (что весьма повысило настроение моего бедного отца) и вращалось вокруг молодого атташе, гуляки, очаровательного тунейдца и волокиты, которого играл премьер театра, обожаемый публикой певец Мюллер-Розе. Отец, давно с ним знакомый, сказал мне имя этого человека, чей образ никогда не померкнет в моей памяти. Теперь Мюллер-Розе, надо думать, стар и немощен, так же как и я, но в то время он приводил публику в такой восторг, так ослеплял ее, что этот спектакль остался одним из самых сильных впечатлений моей жизни. Я употребил слово «ослеплял» и ниже расскажу, как много смысла здесь в него вложено. Но сейчас я хочу по живым воспоминаниям воссоздать сценический облик певца.

Он появился из-за кулис, одетый в черное с головы до пят, и все же суетный блеск исходил от всей его фигуры. По пьесе он возвращался с великосветского раута и был слегка под хмельком; это свое состояние он изображал тактично, изящно и облагороженно. Черная крылатка, подбитая атласом, лакированные туфли, черные фрачные панталоны, белые перчатки *glacés*² и цилиндр на гладких блестящих волосах, по тогдашней моде до самого затылка разделенных пробором, – все было ново с иголочки и безупречно сидело на нем, сияя той нетронутой свежестью, которую в обыденной жизни не сохранить и четверти часа, свежестью, так

² Лайковые (*фр.*).

сказать, нездешней. Но цилиндр, цилиндр, небрежно сдвинутый набекрень, был поистине своего рода чудом – без единой пылинки, с идеально гладким, переливчатым ворсом, он казался нарисованным; такое же впечатление производило и лицо этого высшего существа, словно вылепленное из тончайшего воска. Нежно-розовое, с миндалевидными, темно очерченными глазами, с коротким прямым носом, удивительно четко обрисованным коралловым ртом и абсолютно симметричными усиками, казалось, выписанными тонкой кисточкой над слегка изогнутой верхней губой. Упруго покачиваясь, – в обыденной жизни такого пьяного не увидишь, – он отдал трость и шляпу лакею, сбросил ему на руки свою крылатку и предстал перед нами во фраке и в накрахмаленной манишке, среди мелких складочек которой сверкали бриллиантовые запонки. Болтая и заливаясь серебристым смехом, он снял перчатки, и руки у него оказались снаружи мучнисто-белыми, а ладони такими же розовыми, как лицо. Стоя возле рампы, он потихоньку запел первый куплет песенки, в которой говорилось, как удивительно легка и весела жизнь атташе и волокиты, затем, блаженно раскинув руки и прищелкивая пальцами, он в танце перенесся на противоположную сторону сцены, пропел там второй куплет и отступил подальше, чтобы в ответ на аплодисменты снова приблизиться к рампе и спеть третий уже над самой суфлерской будкой. Кончив куплеты, он с обаятельной беззаботностью вмешался в события пьесы. По замыслу автора он был очень богат, отчего его образу сообщалось еще больше прелести. По мере развития действия он появлялся во все новых туалетах: в белоснежном спортивном костюме с красным кушаком, в роскошном и небывалом мундире, а при каких-то особо щекотливых и донельзя комических обстоятельствах – даже в кальсонах из голубого шелка. Он непрерывно оказывался в рискованных, веселых или удивительно сложных и запутанных положениях: у ног герцогини, за шикарным ужином с двумя шикарными девами радости, с пистолетом в высоко поднятой руке, готовый к дуэли с придурковатым соперником. И ни одно из этих элегантно злоключений не сказалось на его безукоризненной внешности, не измяло идеально заутюженных складок на брюках, не потушило сиянья цилиндра, не заставило неприятно раскраснеться его розовое лицо. Связанный и в то же время окрыленный музыкальным сопровождением и театральными условностями, он держался удивительно легко, свободно, дерзко и притом без малейшего налета серой обыденщины. Его тело, казалось, до мозга костей пронизанное тем волшебством, которое можно обозначить лишь неопределенным словом «талант», очевидно, доставляло ему не меньше радости, чем нам всем. Смотреть, как он берет за серебряный набалдашник трости или засовывает обе руки в карманы, было поистине наслаждением. Его самоуверенная манера вставать с кресла, кланяться, отходить от рампы и вновь приближаться к ней заставляла все сердца радоваться жизни. Да, да, вот именно: Мюллер-Розе распространял вокруг себя радость жизни, ибо какими другими словами можно определить то сладостно-болезненное чувство зависти, возбуждения, надежды и любовной горячности, которое испытывает человек от лицезрения красоты, удачи и совершенства.

Публика в креслах состояла из бюргеров и их жен, коммивояжеров, одногодичников, молоденьких девушек, и, как я ни был увлечен происходящим на сцене, у меня все же достало самообладания и любопытства, чтобы, изредка взглядывая на лица соседей, проверять с помощью собственных впечатлений, как все это на них действует. Выражение этих лиц было блаженное и дурацкое. На всех устах играла одинаковая туповато-самозабвенная улыбка, только на лицах девушек она была нежнее и возбужденнее, у женщин носила характер томный, расслабленный и упоенный, мужчины же улыбались растроганно, с тем поощрительным благожелательством, с которым простолюдины-отцы смотрят на своих блистательно преуспевающих сыновей, которые живут совсем по-иному и как бы претворяют в жизнь их собственные юные мечты. Что касается коммивояжеров и одногодичников, то на их лицах все было настезь: раздувающиеся ноздри, широко открытые глаза, разинутые рты. Но и они тоже улыбались. «А что, если бы мы стояли в кальсонах там на возвышении, хорошенький был бы у нас вид», – казалось,

говорили их улыбки. А как он смело обходится с этими шикарными девами радости! Когда Мюллер-Розе исчезал со сцены, все плечи опускались, казалось, силы вдруг оставляют зрителей. Когда он с поднятой рукой, держа высокую ноту, стремительным и победоносным шагом шел из глубины сцены к рампе, все груди так бурно вздымались ему навстречу, что лифы на женских платьях трещали по швам. Да, все это скопище людей походило на гигантскую темную стаю ночной мошкары, молча, слепо и упоенно устремляющуюся к сиянию пламени.

Мой отец был на вершине блаженства. По французскому обычаю, он захватил с собой в зал трость и шляпу. Шляпу он надел, едва только опустил занавес, а с помощью трости принял участие в неистовой овации: он долго и громко стучал ею об пол. «C'est épatant!» – повторял он чуть слышным, расслабленным голосом. Но после конца представления, уже в фойе, где вокруг нас толпились опьяненные и взыгравшие сердцем коммивояжеры, силившиеся подражать герою вечера походкой, манерой говорить, держать трость и даже рассматривать свои красные руки, отец вдруг обратился ко мне:

– Пойдем! Надо хоть поздороваться с ним. Мы с Мюллером, слава богу, друзья-приятели. Он будет рад снова меня увидеть.

Матери и сестре было приказано дожидаться нас в вестибюле, и мы вдвоем отправились приветствовать Мюллера-Розе.

Путь наш лежал через ближайшую к сцене и уже темную директорскую ложу, откуда железная дверца вела за кулисы. По неосвещенной сцене, точно призраки, сновали театральные рабочие. Какую-то миниатюрную особу в красной ливрее, игравшую в спектакле мальчика-лифтера, которая стояла, в раздумье прислонившись к стене, мой бедный отец шуточно ущипнул за самое широкое место ее фигуры и спросил, как пройти в уборную Мюллера-Розе. Она сердито ткнула пальцем куда-то в глубину кулис. Мы прошли побеленным коридором, в спертom воздухе которого открытыми язычками горел газ. Брань, смех и болтовня доносились сюда из множества дверей, и отец, смеясь, коротким движением большого пальца указал мне на эти проявления жизни. Мы дошли до последней двери в узкой поперечной стене коридора. Отец постучал в нее и прислушался. Изнутри ответили то ли «кто там», то ли «какого черта» – не помню точно, что произнес этот громкий и не слишком учтивый голос. «Можно войти?» – осведомился отец; ему посоветовали сделать что-то другое, что именно, я все же не рискую повторить на этих страницах. Отец смущенно хихикнул и сказал:

– Мюллер, это я, Круль, Энгельберт Круль. Надеюсь, мне будет дозволено пожать вашу руку!

За дверью расхохотались.

– Ах, это ты, старый хрен! Входи, входи, очень рад! Вас, надеюсь, не смутит, – продолжал голос, когда мы уже отворили дверь, – что я не слишком-то одет.

Мы вошли, и взору мальчика представилось незабываемо мерзкое зрелище.

За грязным столом перед пыльным и закапанным зеркалом сидел Мюллер-Розе в серых вязаных подштанниках. Какой-то человек с засученными рукавами обрабатывал полотенцем его спину, всю облитую потом, меж тем как он сам усердно тер заскорузлой от цветного жира тряпкой свою лоснящуюся шею. Одна половина его лица, еще покрытая розовым слоем, который так недавно сообщал ему идеально восковой вид, теперь выглядела желто-красной по сравнению с другой, уже разгримированной. Он успел снять русский парик с длинным пробором, в котором изображал атташе, и я убедился, что волосы у него рыжие. Один глаз был еще подведен, и на его ресницах блестел какой-то черный металлический порошок, в то время как другой, оголенный, водянистый, натертый до красноты, дерзко уставился на нас. Но все это еще куда ни шло; самое скверное было то, что грудь, плечи и спину Мюллера-Розе сплошь покрывали прыщи. Отвратительно красные прыщи с гнойными головками, местами кровоточащие; я и сейчас содрогаюсь при одном воспоминании о них. Я давно заметил, что брезгливость наша тем больше, чем живее мы воспринимаем жизнь и все, что она нам предлагает. Холодный и

безлюбый человек никогда не будет охвачен той дрожью отвращения, которая потрясла меня тогда. Вдобавок ко всему воздух этой комнаты, с железной печью, не в меру жарко натопленной, был пропитан запахом пота и испарениями стаканчиков, склянок и разноцветных палочек, загромождавших стол, так что поначалу мне показалось, что я не выдержу здесь и минуты.

Тем не менее я стоял и смотрел. Но больше я уж ничего такого не увидел, о чем бы стоило рассказывать. Я был бы вправе упрекнуть себя за излишне подробное описание первого посещения театра, если бы эти воспоминания не предназначались прежде всего для меня самого и лишь во вторую очередь – для читателя. О сюжетной занимательности и пропорциональности я вовсе не думаю и оставляю эти заботы авторам, которые черпают из воображения, стараются на выдуманном материале создать прекрасные и правильные произведения искусства; я же только рассказываю о собственной необычной жизни и обращаюсь с этой материей, как мне заблагорассудится. На встречах или событиях, благодаря которым мне многое открылось в себе самом и в окружающем меня мире, я останавливаюсь подолгу, тщательно выписываю каждую деталь и в то же время легко проскальзываю мимо всего, что мне менее дорого и интересно.

Разговор между Мюллером-Розе и моим бедным отцом почти полностью изгладился из моей памяти, вероятно, потому, что мне было некогда к нему прислушиваться. Ведь чувство расшевеливает наш дух куда сильнее, чем слово. Впрочем, мне помнится, что певец – хотя бурные овации и делали его успех несомненным, – то и дело спрашивал, понравилась ли нам его игра, что именно в ней понравилось, – и я отлично понимал его тревогу. Далее, мне смутно вспоминаются некоторые вульгарные остроты, которыми он пересыпал свою речь; так, например, на какую-то шутку отца он воскликнул:

– Ну и сво... – чтобы тут же добавить: – Ну и своеобразная же ты личность.

Впрочем, эти остроты я слышал только вполуха, так как был занят другим – всеми силами старался осмыслить пробудившиеся во мне чувства.

Вот приблизительно ход моих мыслей: итак, этот неопрятный, прыщавый субъект и есть тот, на которого только что благоговейно взирала восхищенная толпа! Мерзостный червяк – вот подлинный образ беспечного мотылька, в котором тысячи обманутых глаз видели воплощение своих тайных грез о красоте, беззаботности, совершенстве! Или он из породы тех пакостных слизняков, которые во мраке вдруг загораются сказочным огоньком? Но как же взрослые, житейски опытные люди так охотно позволили ему себя одурачить? Неужто они не поняли, что их обманывают? Или же они по какому-то молчаливому сговору не считали обман за обман? Пожалуй, это всего вероятнее. Ведь если хорошенько подумать, каково настоящее обличье светлячка? Поэтическая искорка, парящая в летней ночи, или низменное, невзрачное существо, извивающееся у нас на ладони? Поостерегись решать этот вопрос! Сначала вспомни картину, только что представившуюся твоим глазам: огромная стая жалкой мошкеры упрямо и безумно летит в манящее пламя! Какое единодушие в желании поддаться обману! Видимо, это потребность, вложенная самим Господом Богом в природу человека, и Мюллер-Розе создан для того, чтобы удовлетворять ее. Здесь мы явно имеем дело с механизмом, необходимым жизни для ее хозяйства, а Мюллер-Розе – наемный слуга, приводящий в действие этот механизм. И разве он не заслуживает хвалы за то, что ему удалось сегодня и, видимо, удастся каждый день! Подави в себе отвращение, брезгливость, почувствуй всем сердцем: этот человек, зная о своих отвратительных прыщах, все время их ощущая, сумел с таким победоносным самодовольством лицедействовать перед толпой, более того, сумел заставить толпу (разумеется, при помощи света, грима, музыки и расстояния) увидеть в нем свой идеал и тем самым утешил ее и вдохнул в нее жизнь.

И еще спроси: что заставило этого пошлого остряка изучить искусство ежевечернего преобразования? Спроси себя о тайных источниках чар, которыми полчаса назад до кончика ногтей было проникнуто все его тело! Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо только вспомнить (именно вспомнить, потому что тебе это слишком хорошо известно), какая безыменная сила,

сила, для обозначения которой не подыщешь достаточно сладостных слов, научила светиться светляка. Обрати внимание, что этот человек никак досыта не наслушается уверений, что он тебе понравился, до безумия понравился. Ясно, что любовь и приверженность к этой серой толпе сделали его столь искусным; и если он заставляет ее радоваться жизни, а она платит ему восхищением, то разве это не взаимное осчастливливание, не брачное соитие его и ее желаний?

Глава шестая

На последнем листке в общих чертах воспроизведен ход мыслей, пронесившихся в моем разгоряченном пытливым мозгу, когда я стоял в уборной Мюллера-Розе. В последующие дни, даже недели, я много-много раз, волнуясь и любопытствуя, возвращался к ним. Эти внутренние поиски всякий раз исполняли меня тревогой, нетерпеливым желанием и надеждой, пьянили и радовали так, что даже теперь, несмотря на всю мою огромную усталость, одно воспоминание о них заставляет быстрее биться мое сердце. Но в то время эти чувства были так сильны, что, казалось, грудь у меня разорвется под их напором. Бывали дни, когда я просто ощущал себя больным и пользовался этим своим состоянием как предлогом не идти в школу.

Распространяться о моем все возраставшем отвращении к этой враждебной институции я считаю излишним. Для меня необходимейшее условие жизни – свобода мысли и воображения. Потому-то я и вспоминаю о своем долголетнем тюремном заключении с меньшей неприязнью, чем об оковах рабства и страха, которые накладывала на чувствительную душу мальчика, казалось бы, столь почтенная дисциплина, царившая в белом, похожем на коробку доме, что стоял в нижней части нашего городка. А если принять во внимание еще и мое внутреннее одиночество – о причинах его я говорил выше, – то, конечно, нет ничего удивительного, что я и в будние дни стремился уклониться от несения школьной службы.

Тут мне оказало бесценную услугу умение подражать почерку отца, которое я в себе выработал во время своих одиноких игр. Отец, естественно, является образцом для подрастающего мальчика, жаждущего приобщиться к миру взрослых. Бессознательно основываясь на таинственном сродстве и сходстве телосложения, подросток-сын старается перенять повадки родителя, которые рядом с собственной неловкостью представляются ему достойными восхищения; восхищаясь ими, он развивает наследственно заложенные в нем свойства. Водить пером легко и деловито, как отец, было моей мечтой, когда я еще едва-едва выписывал каракули на разлинованной грифельной доске, а сколько бумаги я извел позднее, стараясь держать ручку с такой же грацией, как отец, и по памяти воспроизводя его почерк. Собственно говоря, это было нетрудно, ибо почерк у отца был почти что детский, каллиграфически безупречный и невыписанный; правда, буквы у него получались крохотные, но из-за невиданно длинных соединительных штрихов письмо казалось размашистым – манера, которой я быстро и превосходно научился подражать. Что касается подписи «Э. Круль», в противоположность готически заостренным буквам текста носившей скорее латинский характер, то ее окружала целая туча росчерков, на первый взгляд словно бы неподражаемых, но, в сущности, до того простых, что именно подпись удавалась мне почти безупречно. Нижняя половина первой буквы имени красиво летящей линией сбегала вниз, а в открытое ее лоно был аккуратно вписан первый слог фамилии. Эта линия дважды пересекалась другой, берущей свое начало от хвостика «у», обнимающей всю подпись в целом и протяженным завитком спускающейся вниз. Все же вместе устремлялось скорее в высоту, чем в ширину, и при всей своей причудливости было придумано по-ребячески наивно, отчего я и воспроизводил эту подпись так, что сам отец не сумел бы отличить ее от собственноручной. А потому разве не сама собой напрашивалась мысль использовать сноровку, приобретенную так, скуки ради, для своего духовного раскрепощения?

«Сын мой, Феликс, – писал я, – 7-го с. м. из-за мучительных желудочных колик пропустил занятия, что я и вынужден с сожалением подтвердить. Э. Круль». Или же: «Гнойное воспаление надкостницы, а также вывих правого плеча заставили Феликса с 10-го по 14-е с. м. пролежать в постели и, к большому нашему сожалению, воздержаться от посещения школы. С совершенным уважением Э. Круль». Поскольку этот трюк удался, ничто уже не мешало мне несколько дней подряд бродить в окрестностях городка, или, лежа на зеленой лужайке, в тени шепчущей листвы, предаваться юным мечтам, или целыми часами дремать среди живописных

развалин блаженной памяти епископского замка над Рейном, или, наконец, в суровую зимнюю пору находить приют в мастерской крестного Шimmelпристера; он хоть и ругал меня на все лады за такие штуки, но в тоне его чувствовалось, что причины, меня к сему побудившие, и ему кажутся уважительными.

Нередко случалось и так, что я, сказавшись больным, оставался дома и не вставал с постели, считая, как я уже говорил, что у меня есть на это известное внутреннее право. Согласно моей теории любой обман, в основе которого не заложена хоть крупица высшей правды, иными словами, ложь неприкрытая, несовершенная и неуклюжая может быть разоблачена первым встречным. Действительным и успешным будет лишь обман, не безусловно заслуживающий названия такового, обман, который сводится к тому, чтобы наделить живую, но не окончательно утвердившуюся в реальном мире правду теми материальными признаками, без которых человечество не соглашается считать ее правдой. Здоровый мальчик, за исключением легко протекавших детских болезней не знавший серьезных недугов, я отнюдь не затевал грубого притворства, когда однажды утром решил сказать больным и тем самым избежать страха и неприятностей, ожидавших меня в школе. Да и зачем бы я стал затрачивать столько ненужных усилий, если в моем распоряжении всегда имелись средства утихомирить моих духовных поработителей? Нет, напряжение всех внутренних сил как следствие размышлений, о которых я говорил выше, в то время очень меня изнурявших, вкупе с отвращением к школьному ярму сообщило бесспорную правдивость моему притворству и вооружило меня всеми средствами, нужными для того, чтобы вызвать тревожную озабоченность врача и домочадцев.

Разыгрывать больного я начинал без всяких зрителей, как бы для себя самого, лишь только мое решение насладиться в этот день свободой вместе с неумолимым ходом часовых стрелок выросло в насущную необходимость. Я уже прозевал последнюю минуту, в которую можно было встать, не боясь опоздания, в столовой остывал приготовленный мне завтрак, тупоголовые юнцы уже шагали в школу, будний день начался, и мне предстояло собственными силами, на свой страх и риск вырваться из деспотического его распорядка. От смелости такого предприятия у меня захолонуло сердце и засосало под ложечкой. Тут я обнаружил, что мои ногти приобрели синеватый оттенок. Утро, как видно, выдалось холодное, и было достаточно пролежать несколько минут без одеяла или, еще того лучше, пройтись по комнате и слегка утомить себя, чтобы вызвать внушительный приступ озноба. То, что я сейчас говорю, весьма для меня характерно; мой организм всегда был легко уязвим и требовал бережного ухода, так что всю мою последующую бурную деятельность я рассматривал как мужественное самопреодоление, более того – как немалый нравственный подвиг. Будь это не так, мне бы не удалось ни тогда, ни впредь при помощи нарочитого легкого утомления тела и мозга придавать себе вид серьезно больного и по мере надобности настраивать окружающих на мягкий, жалостливый лад. Дюжий малый запросто из себя больного не разыграет. Только человек (да будет мне позволено вновь прибегнуть к этому обороту), только человек, созданный из благородного материала, может, не будучи больным в обыденном смысле слова, так сродниться со страданием, чтобы, внутренним взором подметив его симптомы, произвольно воссоздавать их. Я закрыл глаза и тотчас же снова широко открыл, сообщив им вопрошающее, жалобное выражение. Я и без зеркала знал, что мои волосы, спутавшиеся от сна, длинными прядями падают на лоб и что мое лицо бледно от волнения и страха. Для того чтобы оно выглядело еще и осунувшимся, я прибег к способу собственного изобретения: чуть-чуть закусил зубами внутреннюю сторону щек, отчего подбородок вытянулся, а щеки сделались впалыми, что явно свидетельствовало о мучительно проведенной ночи. Вибрирующие ноздри и как бы болезненное подергивание мускулов во внешних уголках глаз дополняли картину. Руки с посиневшими ногтями я сложил на груди, на стул около кровати водрузил снятый с умывальника таз и, время от времени стуча зубами, стал ждать, пока меня хватятся.

Случилось это не скоро, так как мои родители любили поздно спать, и пока обнаружилось, что я утром не ушел из дому, в школе прошло уже два или три урока. Но вот моя мать поднялась наверх и вошла ко мне в комнату, еще с порога спрашивая, уж не захворал ли я. Я посмотрел на нее широко открытыми, остановившимися глазами, словно с трудом приходя в себя и еще не понимая, где я и что со мной, и отвечал, что, видимо, и вправду болен.

– Что ж ты чувствуешь? – осведомилась она.

– ... Голова... все тело ломит... Почему мне так холодно? – сказал я, как бы с трудом ворочая языком, и заметался на постели.

Мать прониклась ко мне состраданием. Не думаю, чтобы она приняла мою болезнь всерьез, но так как чувствительность в ней всегда одерживала верх над разумом, то у нее недоставало духу выйти из игры, напротив, она, как в театре, начала мне «подыгрывать».

– Бедное дитя, – воскликнула она, подпирая щеку указательным пальцем и горестно покачивая головой. – И кушать ты ничего не хочешь?

Я вздрогнул, судорожно прижал подбородок к груди и сделал отрицательный жест. Железная последовательность моего поведения отрезвила мать, поколебала ее уверенность, лишила удовольствия, которое она заодно со мной получала от этой иллюзии, ибо то, что человек может зайти в своей игре так далеко, чтобы отказаться от еды и питья, в ее голове не укладывалось. Она посмотрела на меня недоверчивым, испытующим взглядом. Но я, заметив это и желая подтолкнуть ее на нужное мне решение, немедленно разыграл самую трудную и эффектную из всех заготовленных мною сцен. А именно: подскочил на кровати, дрожащими, неверными руками пододвинул к себе таз и буквально распростерся над ним, несмотря на страшные судороги и корчи, сводившие мое тело, – надо было иметь каменное сердце, чтобы не тронуться видом таких страданий.

– Ничего больше нет, – давясь и задыхаясь, проговорил я, поднимая от таза измученное лицо. – Ночью я все, все отдал...

Тут я счел за благо изобразить приступ удушья, почти уже жизнеопасный. Мать держала мою голову и испуганным голосом настойчиво повторяла мое имя, надеясь привести меня в чувство.

– Я сейчас пошлю за Дюзингом, – крикнула она, когда судороги слегка отпустили меня, окончательно убежденная в моей болезни, и выбежала из комнаты.

Совершенно измученный, но неопишимо довольный и удовлетворенный, я откинулся на подушки.

Как часто я мысленно рисовал себе эту сцену, как часто про себя ее репетировал, прежде чем набраться храбрости разыграть ее «на публике»! Не знаю, поймут ли меня, но когда я впервые практически воспроизвел ее и добился всего, чего хотел, я был сам не свой от счастья. Не всякий способен такое сотворить! Многие об этом мечтают, но не могут осуществить свои мечты. А ведь когда ты падаешь без сознания, когда струйка крови течет у тебя изо рта и судороги сводят твоё тело, – как быстро тогда жестокость и равнодушие мира оборачиваются вниманием, испугом, запоздалым раскаянием. Но тело своенравно и тупо-выносливо. Когда душа давно уже жаждет сострадания и ласковой заботы, оно все еще не подает тревожных сигналов, которые каждому говорят, что и с тобой может стрястись беда, и громким голосом взывают к совести человечества. И вот я не только сумел воспроизвести эти симптомы, но и добился результатов не меньших, чем если бы они проявились без сознательного моего участия. Я исправил природу, осуществил мечту. И только тот, кому удавалось из ничего, на основе одного лишь внутреннего знания и наблюдения над вещами, иными словами – на основе фантазии и, конечно, при наличии большой смелости, создать насильственную и жизнеспособную действительность, только тот поймет, в какой счастливой истоме пребывал я, успешно закончив спектакль.

Через час явился санитарный советник Дюзинг. Он стал нашим домашним врачом после смерти старого доктора Мекума, содействовавшего моему рождению. Дюзинг был долговязый, вечно сутулившийся мужчина со стоящими дыбом волосами, который то и дело защемлял свой нос между большим и указательным пальцами и потирал одна о другую широкие костлявые руки. Этот человек был мне опасен: не своим врачебным талантом – на этот счет дело у него обстояло неважно (впрочем, легче всего обмануть как раз хорошего врача, самоотверженно служащего науке ради нее самой), – но из-за грубой житейской смекалки, так часто свойственной заурядным натурам и составлявшей основу его карьеры. Ограниченный и честолюбивый, этот ученик Эскулапа раздобыл себе звание санитарного советника благодаря личным связям, знакомству с крупными виноторговцами – словом, по протекции – и часто ездил в Висбаден, где продолжал энергично продвигаться по служебной линии. Характерно для него было, что дома он принимал пациентов – я в этом убедился собственными глазами – не по порядку и очереди, а, ни капельки не стесняясь, пропускал вперед людей богатых и с положением в обществе, оставляя сидеть пришедших много раньше пациентов «из простых». Высокопоставленных больных он окружал чрезмерной заботой и попечением, с бедняками же обращался грубо, недоверчиво и в большинстве случаев старался объявить их жалобы необоснованными. По моему убеждению, он был способен на любую пакость, плутню, лжесвидетельство, если мог этим угодить «верхам», или зарекомендовать себя преданным слугой власть имущих. Низкопробный здравый смысл подсказывал ему, что именно так должен действовать человек бездарный, но желающий преуспеть в жизни. Дело в том, что мой бедный отец, несмотря на свое сомнительное положение, как фабрикант и налогоплательщик, принадлежал к видным горожанам, санитарный же советник в качестве домашнего врача от него зависел, а может быть, просто с жадностью хватался за любую возможность неблагоприятного поступка. Так или иначе, но этот тип решил, что должен действовать со мною заодно.

Всякий раз, когда он обращался ко мне с наигранным докторским добродушием: «Ай-ай-ай, что же это с нами такое приключилось?» или: «Это что еще за фокусы, молодой человек?» – и садился возле моей кровати, чтобы выслушать и порасспросить меня, – повторяю, всякий раз неожиданное молчание, улыбка или даже подмигивание с его стороны должны были побудить меня ответить ему тем же и, значит, признать, что я просто праздную «святого лентяя», как он, надо думать, называл это про себя. Но я никогда, никогда не перебрал ему мостика. И удерживала меня от этого не осторожность (по всей вероятности, ему можно было довериться), а скорее гордость и презрение. Все его старанья вовлечь меня в заговор ни к чему не приводили, только глаза у меня делались все печальнее и растеряннее, щеки вваливались еще больше, губы бессильно опускались, дыхание становилось отрывистее; я всегда был готов, если это окажется нужным, и перед ним разыграть приступ неукротимой рвоты и с такой невозмутимой последовательностью продолжал свое притворство, что ему в конце концов пришлось признать себя побежденным, позабыть о своем здравомыслии и прибегнуть к помощи науки.

Это давалось ему нелегко, во-первых, потому что он был глуп, а во-вторых, потому что картина болезни, воссоздаваемая мною, грешила очень уж большой неопределенностью. Он выслушивал и выстукивал меня со всех сторон, засовывая мне в горло ручку чайной ложечки, докучал частым измерением температуры и затем изрекал:

– Мигрень. Никаких оснований для беспокойства нет. Склонность этого молодого человека к головным болям нам давно известна. К сожалению, на сей раз затронут и кишечник. Я рекомендую покой, никаких посетителей, поменьше разговаривать и побольше лежать в затемненной комнате. Очень хорошо в таких случаях принимать кофеин с лимонной кислотой. Сейчас я выпишу рецепт.

Если же в нашем городке отмечалось два-три случая гриппа, то он говорил:

– Грипп, уважаемая госпожа Круль, грипп, осложнившийся гастритом. Кроме того, воспаление дыхательных путей, хотя и очень незначительное. У вас появился кашель, мой друг,

не так ли? Температура немного поднялась, а в течение дня, несомненно, подыметя еще на несколько десятых. Пульс учащенный и неровный.

Со свойственным ему отсутствием фантазии он прописывал кисло-сладкое укрепляющее вино; я его пил с удовольствием, и после выдержанной баталии оно приводило меня в умиротворенное, довольное настроение.

Конечно, профессия врача не составляет исключения в ряду других профессий, и многие ее представители – обыкновеннейшие дураки, готовые видеть то, чего нет, и отрицать то, что совершенно очевидно. Любой неученый знаток человеческого организма превосходит их в знании тончайших секретов такового, и ему ничего не стоит обвести вокруг пальца ученого медика. Катар дыхательных путей, который он у меня обнаружил, не был мною предусмотрен; я не сделал ни малейшего намека на него в придуманной мною клинической картине. Но так как мне все-таки удалось заставить санитарного советника отказаться от его пошлого диагноза: «празднует святого лентяя» – то ничего более остроумного, чем грипп, он придумать не сумел, и вот, боясь осрамиться, требовал, чтобы я страдал от приступов кашля, и утверждал, что у меня распухли миндалины, чего тоже не было. Что же касается повышения температуры, то здесь он не ошибался, хотя это и не служило к чести его школьной премудрости. Врачебная наука почему-то хочет, чтобы жар всегда был только следствием отравления крови возбуждителями болезни, и утверждает, что повышение температуры связано лишь с физическими явлениями. Но это смешно! Читатель давно уже понял, в чем я его к тому же заверяю честным словом, что физически я не был болен, когда санитарный советник Дюзинг меня выслушивал; но возбуждение минуты, отважное предприятие, мной задуманное, своего рода опьянение, которое я испытывал, выгравшись в роль больного, роль, требовавшую участия всего моего организма и предельного совершенства исполнения, чтобы не стать комической, более того, известное вдохновение, которое требовало одновременно и напряжения и ослабления всех сил, для того чтобы нечто мнимое стало действительным для меня и других, – все это, вместе взятое, привело в состояние такого подъема деятельность моего организма, что санитарный советник черным по белому прочитал это на термометре. Учащение пульса, конечно, объяснялось теми же причинами; когда же голова советника легла ко мне на грудь и я почувал животный запах его сухих бурых волос, то под этим живым впечатлением мне удалось даже придать своему сердцу неровный – то замирающий, то убыстренный – ритм. Наконец, если доктор Дюзинг независимо от диагноза всякий раз объявлял затронутым желудок, то должен заметить, что этот орган всегда у меня отличался столь болезненной чувствительностью, что при любом душевном потрясении начинал биться и пульсировать, так что в иных жизненных случаях я, можно сказать, страдал не сердцебиением, как другие люди, а биением желудка. Санитарный советник только диву давался, наблюдая этот феномен.

Итак, прописав мне горькие пилюли или кисло-сладкое укрепляющее вино, он еще некоторое время сидел у постели больного, оживленно болтая с моей матерью, я же, прерывисто дыша полуоткрытым ртом, вперял в потолок усталый, потухший взор. Иногда к ним присоединялся и отец. Вид у него бывал смущенный, он старался не встречаться со мной глазами и пользовался случаем поговорить с санитарным советником о своей подагре. Оставшись наконец один, я проводил день, а иногда и два-три дня в мирном отдохновении и в сладких мечтах о жизни, о будущем, правда, получая лишь скудную диетическую пищу, но тем вкуснее она мне казалась. Если же протертый суп и сухарики не удовлетворяли моего юношеского аппетита, я осторожно вылезал из кровати, тихонько поднимал крышку своего маленького бюро и принимался поглощать шоколад, запасы которого у меня почти никогда не переводились.

Глава седьмая

Откуда брались у меня эти сласти? В мое владенье они попадали странным, можно сказать, фантастическим образом. В нижней части городка, на углу сравнительно оживленной торговой улицы, помещалась премило убранная гастрономическая лавка, если не ошибаюсь, филиал висбаденской фирмы, обслуживавшей богатую клиентуру. По дороге в школу и обратно я каждый день проходил мимо аппетитной витрины этой лавки, а случалось, и заходил в нее с мелкой монетой в руке, чтобы купить в соответствии со своим капиталом немного дешевых пряников или ячменных леденцов. Однажды в обеденное время я застал лавку пустой, там не было не только покупателей, но и никого из приказчиков. Звонок (обыкновенный колокольчик, его при открывании и закрывании двери толкал зубец металлической штанги) зазвонил, но звук его либо не донесся до заднего помещения, отделенного от лавки застекленной дверью со сборчатой зеленой занавеской, либо там тоже никого не было в данную минуту. Во всяком случае, никто оттуда не появился. Удивленный, испуганный и даже взволнованный окружающим меня безмолвием и пустотой, я огляделся по сторонам. Никогда еще мне не удавалось так свободно осматривать этот соблазнительнейший уголок.

Помещение, узковатое, хотя и высокое, было снизу доверху набито разнообразной снедью. Плотные ряды окороков и колбас всевозможных форм и цветов – белых, желтых, красных и черных, круглых и твердых, как пушечные ядра, а также длинных, узловатых и крученых вроде веревки – затемняли окна. Жестяные консервные коробки, какао и цибики чая, разноцветные банки с вареньем, медом и засахаренными фруктами, стройные и пузатые бутылки с ликерами и пуншевыми эссенциями заполняли стенные шкафы от пола до потолка. Под стеклом на прилавке красовались тарелки и миски с дразнящими аппетит копченостями: макрелью, миногами, треской и угрями. Там же стояли блюда с итальянским салатом. На глыбе льда распростер свои клешни омар; шпроты, тесно прижатые друг к дружке, мерцали жирным золотом в открытых ящичках; редкостные фрукты, клубника и гроздь винограда, точно чудом заброшенные сюда из страны обетованной, громоздились среди башенок, построенных из жестянок с сардинами и соблазнительных белых баночек с икрой и паштетом из гусиной печени. С верхних полок свешивались шейки жирной домашней птицы. Разносортные закуски, предназначенные для холодных ужинов, как то: ростбиф, гусятинки, ветчина, языки и копченая лососина – горками высились чуть подальше; рядом с ними лежали длинные и узкие ножи. Большие стеклянные колпаки прикрывали все виды сыров, какие только есть на свете: кирпично-красные, молочно-белые, мраморные с прожилками и такие, что лакомой золотистой волной вытекали из своей серебряной оболочки. Между ними зеленели артишоки, пучки спаржи, трюфеля и точно высыпаемые из рога изобилия радужным блеском отливали печеночные колбаски в пестрых обертках из станиолевой бумаги. На отдельных столиках были расставлены открытые жестянки с лучшими сортами бисквитов, подносы со сложенными крест-накрест медовыми кувачами, излучавшими коричневое сияние, а среди них высились стройные стеклянные вазы, полные конфет и глазированных фруктов.

Я стоял как зачарованный, впивая трепещущей грудью чудесный воздух, в котором запахи шоколада и копченостей мешались с упоительно гнилостным благовонием трюфелей. Сказочные страны и подземные сокровищницы, где счастливики смело набивают себе карманы и даже сапоги драгоценными камнями, вставали в моем воображении. Сказка это или сон? Удручающая законность и добропорядочность будней вдруг рассеялась, растворилась, исчезли условности и помехи, в обыденной жизни стеной встающие на пути вождения. Радость от того, что этот изобильный уголок земли сейчас подчинен моей самодержавной власти, охватила меня с такой силой, что я почувствовал зуд во всем теле. С трудом подавил я

в себе желанье вскрикнуть от неистового счастья, от наслаждения всей полнотой небывалой свободы.

– Добрый день, – проговорил я в пустоту, и мне еще сейчас слышится сдавленный, неестественно-спокойный звук моего голоса, потерявшийся в тишине.

Никто не ответил. И в это самое мгновение у меня буквально потекли слюни изо рта. Быстро и бесшумно ступил я к одному из боковых столов, ломившихся от сластей, великолепным жестом запустил руку в ближайшую вазу с конфетами, высыпал всю пригоршню в карман пальто, прошел к двери и через секунду уже скрылся за углом.

Мне, конечно, скажут, что моя проделка – обыкновеннейшее воровство. А я смолчу, постараюсь пропустить это мимо ушей, ведь все равно я не могу помешать воспользоваться этим жалким словом тому, кому приятно его произносить. Но одно – слово, дешевое, истертое, лишь очень приблизительно рисующее жизнь, и совсем другое – живой, непосредственный, вечно юный поступок, блистающий неповторимой, несравненной новизной. Только привычка и леность заставляют нас полагать, что это одно и то же, тогда как на самом деле слово, поскольку оно должно характеризовать поступок, напоминает хлопущку для мух, то есть всегда бьет мимо. Вдобавок, когда речь идет о поступке, существенно не «что» и не «как» (хотя последнее все-таки важнее), а «кто».

Что бы я в жизни ни делал, было прежде всего моим поступком, а не поступком некоего имярек, и хотя мне пришлось многое претерпеть и всякая шушера, в том числе блюстители правосудия, именовали мой поступок так же, как и десятки тысяч других, но я, в глубине души неколебимо считая себя любимцем богов, предпочтенной плотью и кровью, внутренне неизменно восставал против такого приравнивания. Да простит мне мой будущий читатель это отступление в область чисто умозрительного, которое, вероятно, не к лицу человеку малообразованному и по роду своих занятий непривычному к размышлениям, тем не менее я почи- таю за долг по мере возможности примирить читателя со своеобразием моей жизни, а если это не удастся, то вовремя удержать его от чтения этих листков.

Вернувшись домой, я прошел в пальто к себе в комнату, чтобы выложить на стол и рассмотреть принесенную добычу. Я едва верил, что все это мое. Ведь во сне что только не дается нам в руки, а проснешься – и ничего у тебя нет. И только тот может хоть отчасти разделить со мной мою радость, кто живо себе вообразит, что богатства, дарованные ему в прельстительном сне, при свете утра, весомые, ощутимые, лежат у него на одеяле, словно он позабыл унести их с собою.

Конфеты самых дорогих сортов, с ликером или душистым кремом, были обернуты в цветные станиолевые бумажки, но меня опьянял не их прекрасный вид и вкус, а то, что они представлялись мне драгоценностями из сновидения, которые я спас для действительной жизни; и радость эта была столь глубока, что я, естественно, стал думать, как бы мне при случае вновь испытать ее. Читатель может отнестись к этому факту как ему угодно, – сам я не считал нужным долго над ним размышлять. Дело в том, что в обеденное время гастрономическая лавка иногда оставалась без присмотра – не часто, конечно, не регулярно, но через большие или меньшие промежутки времени это все же бывало, – что я и замечал, проходя с ранцем за плечами мимо застекленной двери. В таких случаях я входил, затворял за собой дверь тихо, осторожно, так что колокольчик не издавал ни звука, хотя язычок и терся об его стенки, на всякий случай говорил «добрый день» и живо брал то, что мне хотелось – немного, скромно: горсть конфет, кусок медовой коврижки, плитку шоколада, – но мало-помалу я перепробовал все. Когда в позднейших частях моих «перевоплощениях» я так же легко и свободно пригорш- нями брал сладости жизни, мне казалось, что я снова испытываю то не поддающееся определению чувство, с которым я сроднился в силу своеобразного строя своих мыслей и различных психологических изысканий.

Глава восьмая

Неведомый читатель! Признаюсь, я даже на время отложил перо, чтобы собраться с мыслями, прежде чем вступить в область, которую я уже не раз затрагивал в своих воспоминаниях и на которой, как человек добросовестный, я хочу остановиться несколько подробнее. Спешу предупредить: того, кто ждет от меня фривольного тона и скользких шуток, неизбежно постигнет разочарование. В этих записях я, напротив, стремлюсь сочетать должную искренность с той сдержанной серьезностью, которую диктуют мораль и благоприличие. Ибо я, в противоположность многим, никогда не любил сальностей, более того, из всех видов распушенности распушенность языка мне всегда внушала наибольшее отвращение, так как она не оправдана никакой страстью. Когда человек острит и сквернословит, кажется, что речь идет о чем-то пустом, комическом, тогда как на самом деле мы здесь касаемся важнейшего таинства природы, и говорить о нем наглым, пошлым тоном – значит предавать это таинство глумлению черни. Но возвращаюсь к исповеди!

Прежде всего должен заметить, что известные отношения рано начали играть роль в моей жизни, занимать мои мысли, составлять предмет моих мечтаний и ребяческих игр, – многим раньше, чем я узнал, как это называется и сколь всеобщее значение имеет. Надо также сказать, что картины, рисовавшиеся моему живому воображению, и пронизывающее удовольствие, которое я при этом испытывал, казались мне моей личной, никому другому не понятной особенностью, странностью, о которой я предпочитал не говорить вслух. Не зная, каким словом обозначить этот подъем и сладостное волнение, я придумал для них два наименования: «наилучшее» и «великая радость», – и хранил их как бесценную тайну. В силу такой ревнивой замкнутости, в силу моего одиночества и еще третьего фактора, о нем я скажу ниже, я долгое время оставался в этом состоянии духовной невинности, никак не вязавшейся с живостью моих чувств. Ибо с тех пор как я себя помню, «великая радость» занимала главенствующее положение в моей душевной жизни; более того, она, видимо, пробудилась во мне еще за гранью памяти. Маленькие дети обычно невинны по незнанию; предположение, что они невинны в смысле подлинной чистоты и ангельской святости, – только сентиментальное суеверие, которое развеивается при ближайшем рассмотрении. Мне по крайней мере из достоверного источника (о котором я сейчас скажу подробнее) известно, что еще у груди кормилицы я выказывал недвусмысленные признаки чувства; этот рассказ представляется мне более чем вероятным и весьма характерным для моей энергичной натуры. И правда, моя способность к любовным утехам граничила почти уже с чудом и, как я теперь в этом убеждаюсь, далеко превосходила обычную меру. Основание предполагать это явилось у меня рано, но, для того чтобы предположение переросло в уверенность, понадобилось вмешательство одной особы (она-то и сообщила мне о моем бойком поведении у груди кормилицы), с которой я отроком в продолжение ряда лет состоял в тайных сношениях. Это была горничная по имени Женестьева, поступившая к нам совсем еще девочкой и в пору, когда мне минуло шестнадцать, достигшая уже тридцатилетнего возраста. Дочь фельдфебеля, давно уже помолвленная с начальником маленькой станции между Франкфуртом и Нидерландштейном, она тяготела к светской утонченности и хотя выполняла всякую черную работу, но по виду и манерам являла собой нечто среднее между горничной и наперсницей. Но так как приличное приданое все еще не было сколочено, то ее свадьба все откладывалась в долгий ящик, и Женестьева, крупной, упитанной блондинке с зелеными тревожными глазами и изящными телодвижениями, необозримо долгая пора ожидания часто не в меру докучала. Проводя лучшие свои годы в воздержании, она не снисходила к домогательствам простолюдинов: солдат, рабочих, мастеровых, которые очень льстились на ее пышную юность. Не причисляя себя к простонародью, она презирала его язык и запах. Иное дело – хозяйский сынок да еще недурной собою и, надо думать, возбуждающий ее женское

чувство. Удовлетворение его потребностей, с одной стороны, как бы входило в круг ее домашних обязанностей, с другой же – означало своего рода альянс с высшими классами. Так вот и получилось, что мои желания не встретили серьезного сопротивления.

Я отнюдь не намерен распространяться об эпизоде, слишком обычном, чтобы его подробности могли занять просвещенного читателя. Короче говоря, однажды вечером после ужина, когда крестный Шиммельпристер кончил наряжать меня во всевозможные костюмы, в темном коридорчике мансарды, у дверей моей комнаты, произошла встреча, конечно, не без умысла со стороны Женеьевы, встреча, которая имела продолжение уже в комнате и кончилась полным взаимным обладанием. Помнится, что в тот вечер я был более обыкновенного подавлен прозой жизни, наступившей после маскарада, и погружен в бесконечную печаль и тоску. Будничное платье, которое я натянул на себя после стольких переоблачений, претило мне, я ощущал непреодолимое желанье сорвать его с себя, но на этот раз не только для того, чтобы обрести успокоение во сне. Настоящее успокоение, казалось мне, я найду лишь в объятиях Женеьевы; говоря откровенно, мне даже мерещилось, что полная близость с нею будет своего рода завершением вечернего маскарада, более того, что она и есть истинная цель моих сегодняшних превращений. Как бы там ни было, а изнуряющее, небывалое наслаждение, которое я испытывал у белой, пышной груди Женеьевы, никакому описанию не поддается. Я кричал, мне казалось, что я возношусь на небо. И не своекорыстным было мое сладострастие, оно, как это свойственно моей натуре, распалось тем больше, чем полнее делила его со мною Женеьева. Всякие сравнения здесь, конечно, немыслимы и неуместны. Но мое убеждение, столь же недоказуемое, сколь и неопровержимое, остается в силе: любовью я наслаждался вдвое острее и жарче, чем другие.

Однако было бы несправедливо полагать, что этот врожденный дар превратил меня в сладострастника, в селадона. Этого не могло случиться хотя бы по той простой причине, что трудная и опасная жизнь, которую я вел, предъявляла немалые требования к моей выдержке, а ее бы у меня, конечно, не достало, если бы я стал размениваться направо и налево. Ибо если для многих это сомнительное времяпрепровождение является, как я заметил, чем-то, что делают походя и после чего можно взять да и отправиться по делам, будто ровно ничего не произошло, то я отдавал ему всего себя, вставал полностью опустошенный и непригодный к какой-либо деятельности.

Я часто распутничал, ибо плоть слаба, а мир был всегда готов любово-страстно идти мне навстречу. Но, в конечном счете, я, как и подобает мужчине, был настроен серьезно, и из чувственной расслабленности меня вскоре вновь тянуло к напряженной и суровой жизни. Животный акт любви – не является ли он лишь наиболее грубым видом наслаждения тем, что я, исполненный смутных чаяний, когда-то назвал «великой радостью»? Ведь, слишком нас пресыщая, он нас опустошает, и мы перестаем быть любимцами жизни, ибо любви достоин лишь алчущий, а не пресыщенный. Что до меня, то я знаю куда более тонкие, радостные, окрыленные виды удовлетворения страсти, чем этот примитивный акт, в конечном счете являющийся лишь скудной, обманчивой пищей, и я полагаю, что плохо понимает в счастье тот, чьи помыслы направлены только на эту цель. Я всегда стремился к большему, к наиполнейшему и находил изысканную, пряную усладу там, где другие не стали бы даже искать ее. Мои чувства никогда не были направлены на точную, определенную цель, чем, наверно, и объясняется то, что я, несмотря на весь жар вожделения, так долго оставался в наивном неведении, вернее, навеки остался ребенком и мечтателем.

Глава девятая

На этом хватит о материи, трактуя которую я, как мне думается, ни разу не преступил границ благопристойности; пора уже приблизиться к поворотной точке, трагически заключившей мою жизнь в отчет доме. Сначала, правда, надо еще сказать несколько слов о помолвке моей сестры Олимпии с неким Юбелем – секунд-лейтенантом Второго Нассауского пехотного полка № 88, стоявшего в Майнце, – событии, отмеченном весьма торжественно, но так и не возымевшем серьезных последствий. Под натиском обстоятельств эта помолвка была расторгнута, и невеста, после того как все у нас окончательно рухнуло, стала опереточной артисткой. Юбель, болезненный, уже поживший молодой человек, был завсегдатаем наших вечеров. Распаленный танцами, игрой в фанты, вином «Бернкаслер доктор» и прелестями, которые так щедро демонстрировали ему наши дамы, он возгорелся любовью к Олимпии, со страстностью слабогрудого человека стал мечтать об обладании ею и вдобавок, по наивности сильно переоценивая наше материальное благополучие, однажды вечером на коленях, чуть не плача от нетерпения, попросил ее руки. Я и посейчас удивляюсь, как у Олимпии, почти не отвечавшей на его чувства, хватило наглости согласиться на это безумное предложение, – ведь она была многим лучше меня осведомлена о состоянии наших дел. Видимо, ей хотелось вовремя обеспечить себе хотя бы такой ненадежный кров, а может быть, ей внушили, что помолвка с носителем двухцветного мундира укрепит наше положение или по крайней мере отодвинет катастрофу. Мой бедный отец (Олимпия тотчас же к нему побежала), конфузясь, дал свое согласие на этот брак, после чего о событии было объявлено гостям, которые со страшным шумом начали приносить свои поздравления и, как они выражались, щедро «обмывать» помолвку «Лорелей экстра кюве». Отныне лейтенант Юбель стал ежедневно приезжать к нам из Майнца, хотя долгое пребывание вблизи от предмета его болезненного вожделения шло ему очень и очень во вред. Когда мне случалось войти в комнату, где они сидели вдвоем, лейтенант выглядел совершенно изнуренным и бледным; он бы вконец извелся, если бы, на его счастье, ход дел не принял совсем иного оборота.

Но я снова возвращаюсь к своей особе. Все мои мысли в ту пору были заняты переменной фамилии, предстоявшей моей сестре после вступления в брак; мне живо помнится, что я до недоброжелательства ей завидовал. Подумать только, что она, всю жизнь называвшаяся Олимпией Круль, теперь станет писаться «Олимпия Юбель»! Сколько в этом новизны и прелести! Можно ли себе представить что-нибудь скучнее и утомительнее, чем весь век ставить под письмами и деловыми бумагами одну и ту же подпись? Рука сама отказывается выводить эти докучные буквы. Какое счастье, какой прилив свежих сил – откликаться на новое имя! Возможность хоть раз в жизни переменить имя казалась мне огромнейшим преимуществом слабого пола, – ведь нас, мужчин, закон лишает этой радости. Что до меня, неприспособленного, как большинство людей, вести под защитой буржуазного строя унылую и безопасную жизнь, то я впоследствии проявил немало изобретательности, чтобы обойти запрет, мешавший мне жить и зарабатывать себе на жизнь, и я уже сейчас позволяю себе отослать читателя к тому проникнутому легкой своеобразной прелестью месту моих воспоминаний, где я впервые, как изношенную, пропотевшую одежду, сбрасываю с себя свое родовое имя, чтобы не вовсе самочинно присвоить себе другое, по звучности и аристократизму далеко превосходящее имя лейтенанта Юбеля.

Но в то время как сестра моя была невестой, рок, выражаясь фигурально, костлявым пальцем уже стучался в наши двери. Ехидные слухи о состоянии дел моего бедного отца, распространившиеся в наших краях, недоверчивая сдержанность, с какой к нам стали относиться, беды, которые пророчили нашему не в меру гостеприимному дому, – все это, к величайшему удовлетворению грязных злопыхателей, сбылось, оправдалось и подтвердилось.

Потребитель решительно отвергал наши шипучие вина. Ни сильное удешевление (что, разумеется, мало способствовало повышению их качества), ни сверхсоблазнительные рекламы, которые мой крестный Шиммельпристер, вопреки своему убеждению, из чистой любезности сделал для фирмы, не привлекли симпатий винолюбивого общества к нашему товару. Последнее время заказы уже равнялись нулю; и вот в один из весенних дней, незадолго до моего восемнадцатилетия, на моего бедного отца надвинулась катастрофа.

В том нежном возрасте я ничего не понимал в коммерческих делах, да и позднее моя фантазмагорическая жизнь не давала мне возможности приобрести меркантильные знания. Посему я не буду вдаваться в предмет, мне почти незнакомый, и утруждать читателя профессиональными подробностями краха фабрики шампанских вин. Но о сердечном участии, которое мне в то время внушал мой бедный отец, я все же скажу несколько слов. С каждым днем он все глубже и глубже погружался в меланхолию, выражавшуюся в том, что он целыми днями сидел где-нибудь на стуле у стены со склоненной набок головой, пальцами правой руки неторопливо поглаживая свое брюшко и часто-часто моргая глазами. Иногда он ездил в Майнц, – эти печальные поездки предпринимались, надо думать, в надежде достать денег или сыскать какие-нибудь источники помощи; приезжал он оттуда совершенно подавленный и то и дело вытирал батистовым платочком лоб и глаза. Прежнее благодушие возвращалось к отцу, разве когда он, повязанный салфеткой, с бокалом вина в руке, председательствовал за пиршественным столом, – по вечерам в нашем доме все еще собиралось шумное общество. Но однажды во время такого собрания между моим бедным отцом и евреем-банкиром (супругом обвешанной драгоценностями особы) возникла пренеприятная и достаточно отрезвляющая словесная перепалка. Банкир этот, как я тогда же узнал, был одним из самых отчаянных живодеров, что заманивают в свои сети незадачливых и легкомысленных коммерсантов. Вскоре наступил тот знаменательный, роковой, но для меня все же интересный и бодрящий день, когда фабрика и контора фирмы остались закрытыми, а в нашем доме появилась кучка почтенных господ с холодным взглядом и поджатыми губами, чтобы описать наше имущество.

На суде мой бедный отец в изысканных выражениях подтвердил свою неплатежеспособность и скрепил бумагу наивно вычурной подписью, которую я умел так мастерски воспроизводить, после чего дело было торжественно передано конкурсному управлению.

В тот день из-за нашего позора, уже известного всему городу, я не пошел в школу, вернее в реальное училище, окончить которое, замечу мимоходом, мне так и не было суждено: во-первых, потому, что я ни в малейшей мере не скрывал своего отвращения к деспотической тупости, характерной для этого заведения, и, во-вторых, потому, что подозрительные слухи, а затем и полное крушение нашего торгового дома восстановило против меня весь учительский персонал, более того, преисполнило его ненавистью и презрением ко мне. И на сей раз, после банкротства отца, меня не только не перевели на Пасху в следующий класс, но поставили перед выбором – либо и впредь терпеливо сносить уродливые проявления тирании, в моем возрасте уже нестерпимые, либо уйти из школы и тем самым поставить крест на тех общественных преимуществах, которые дает окончание реального училища. В задорном сознании, что личные мои качества с лихвой возместят мне утрату этих жалких привилегий, я, разумеется, выбрал последнее.

Катастрофа, постигшая нас, была непоправимой, и мне стало очевидно, что мой бедный отец оттягивал ее приближение, все безнадежнее запутываясь в сетях ростовщиков, потому что точно знал – торги сделают нас не только бедняками, но нищими. Все пошло с молотка – складские запасы (впрочем, не знаю, кто согласился дать хоть грош за эту злополучную субстанцию, именовавшуюся шипучим вином); недвижимое, как то: погреба и наш загородный дом, обремененные долгами по закладным, составлявшим более двух третей их стоимости, проценты по которым не платились в течение ряда лет; гномы, грибы и зверюшки из нашего сада, даже стеклянный шар и эолова арфа не избежали этой печальной участи. Дом наш лишился

всего своего приветливого изобилия – прятка, пестрые подушки, полированные ларчики и флаконы с благовониями были вынесены на аукцион; конкурсное управление не пощадило даже алебард и веселых занавесей из раскрашенного тростника, и если забавное устройство над входной дверью уцелело в этом разгроме и по-прежнему тоненько выводило «Жизни возрадуйтесь», то только потому, что судейские его не заметили.

Собственно говоря, мой бедный отец не производил впечатления вконец сломленного человека. В нем замечалось даже известное удовлетворение по поводу того, что дела, распутать которые ему не представлялось возможным, теперь находятся в надежных руках, а так как правление банка, в чье владенье перешла наша недвижимость, сердобольно разрешило нам до поры до времени проживать в голых стенах нашего загородного дома, то у отца как-никак была еще и крыша над головой. Легковерный и добродушный по природе, он и других людей не считал за жестокосердных педантов и не думал, что они всерьез его оттолкнут; у него даже достало наивности явиться в местное акционерное общество по выработке шампанских вин и предложить свои услуги в качестве директора. Получив насмешливый отказ, он сделал еще несколько попыток встать на ноги, для чего храбро возобновил свои вечера и фейерверки. Когда и это средство не помогло, отец впал в уныние; а так как он еще полагал, что стоит нам поперек дороги и что без него мы легче пробьемся в жизни, то и решил покончить с собою.

Со времени торгов прошло пять месяцев. Наступила осень. Я уже с Пасхи не посещал школы и радовался временной свободе и переходному своему состоянию без определенных видов на будущее. Мы – моя мать, сестра Олимпия и я – собрались в столовой, единственной еще кое-как обставленной комнате, и довольно долго не приступали к скудной трапезе, дожидаясь главы семейства. Но когда отец не появился и после того, как суп был уже съеден, сестра Олимпия, к которой он питал особую нежность, была послана в кабинет звать его к обеду. Через какие-нибудь три минуты мы вдруг услышали, что она с криком мчится вниз по лестнице, потом опять вверх и зачем-то снова вниз. Я весь похолодел и, готовый к наихудшему, ринулся в комнату отца. Он лежал на полу в расстегнутом сюртуке; одна его рука покоилась на выпуклом животе, а рядом лежал блестящий опасный предмет, из которого он выстрелил в свое чувствительное сердце. Горничная Женевьева и я подняли его и положили на софу. Покуда прислуга бегала за врачом, Олимпия с воплями носилась по дому, а мать не отваживалась выйти из столовой, я стоял, закрыв глаза руками, возле стынущей оболочки моего родителя, щедро воздавая ему дань сыновних слез.

Книга вторая

Глава первая

Долго пролежали эти бумаги в запертом ящике; более года нежелание писать и сомнение в плодотворности задуманного удерживали меня от того, чтобы в строгой последовательности, листок за листком, продолжать свою исповедь. На предыдущих страницах я хоть и неоднократно заверял, что веду свои записи главным образом и прежде всего для собственного развлечения, но так как я и здесь намерен воздать должное правде, то хочу откровенно признаться: садясь за письменный стол, я втихомолку все же помышлял о читателях, и без подкрепляющей меня надежды на их участие и поощрение у меня, наверное, не хватило бы усидчивости довести свою работу хотя бы до нынешней ее стадии. И уж конечно, я не раз задавался вопросом – смогут ли мои правдивые признания, скромно почерпнутые из действительной жизни, соперничать с вымыслом писателей и заслужить благоволение публики, давно пресытившейся пряностями искусства? Одному Богу известно – не раз говорил я себе, – каких очарований и потрясений ждут от книги, которая в силу своего заглавия как бы становится в один ряд с детективными романами, тогда как история моей жизни временами хотя и кажется необычной, даже неправдоподобной, но, конечно же, вовсе не знает ошеломляюще внезапных эффектов и запутанных интригующих положений. От всех этих мыслей мужество едва не оставило меня.

Но сегодня мне случайно попались на глаза уже написанные главы; не без чувства расстроганности я сызнова прочитал хронику моего детства и первых отроческих лет; воодушевившись, я опять предался воспоминаниям и, в то время как передо мной оживали наиболее памятные моменты моей биографии, невольно подумал, что подробности, столь живительно действующие на меня, будут небезынтересны и широкому читателю. Стоит мне, например, припомнить, как я в одной из знаменитых столиц империи под именем бельгийского аристократа сижу с сигарой за чашкой кофе в избранном обществе, среди которого находится и начальник полиции, на редкость гуманный сердцевед, и веду беспечный разговор об авантюризме и криминалистике, или же роковой час моего первого ареста, когда один из вошедших ко мне чиновников уголовного розыска, пораженный величием момента и сбитый с толку роскошью моей спальни, постучался в открытую дверь и, старательно вытерев ноги, тихо проговорил: «Прошу прощения за смелость», – за что был вознагражден негодующим взглядом своего толстого начальника, – и я преисполняюсь радостной надежды, что мои признания, пусть уступающие вымыслам романистов в захватывающей интересности, пусть менее полно удовлетворяющие пошлое любопытство публики, тем не менее решительно превзойдут их утонченной проникновенностью и благородной правдивостью. Вот почему я снова возгорелся желанием продолжить и завершить свои записки. Отныне я намерен с еще большим тщанием следить за чистотой стиля и благоприличием оборотов, дабы вышедшее из-под моего пера могло читаться и в самых лучших домах.

Глава вторая

Я возобновляю свой рассказ на том самом месте, где некогда прервал его, а именно на самоубийстве моего бедного отца, загнанного в тупик людским жестокосердием. Предать его земле по религиозному обряду было затруднительно, ибо церковь отворачивает свой лик от подобного деяния, осуждаемого, впрочем, и моралью, свободной от канонических воззрений. Жизнь, разумеется, не высший дар небес, за который, обольщенные ее прелестью, мы должны цепляться; по-моему, ее скорее следует рассматривать как заданный, в известной мере даже нами самими выбранный, тяжелый и трудный урок, каковой нам надлежит выполнять со старательным упорством, ибо преждевременное бегство от него является величайшей нерадивостью. Но в этом частном случае я воздержался от сурового приговора и всецело отдался чувству жалости. Похоронить отца без благословения церкви мы, оставшиеся, считали невозможным – моя мать и сестра из-за людской молвы и из ханжества (они были ревностными католичками), а я в силу врожденного традиционализма, всегда меня побуждавшего предпочитать благодетельно устоявшиеся формы претензиям новейшего прогресса. Итак, поскольку у женщин не хватило на то мужества, я взялся уговорить настоятеля нашего собора, консисториального советника Шато, совершить обряд погребения.

Этот жизнелюбивый клирик, лишь недавно получивший приход в нашем городе, которого я застал за вторым завтраком, состоявшим из омлета и бутылки легкого вина, удостоил меня отменно любезного приема. Дело в том, что консисториальный советник Шато был пастырем самого светского толка, убедительно олицетворявшим своей особой блеск и аристократизм католической церкви. Кругленький и низкорослый, но отнюдь не лишенный известного изящества, он при ходьбе проворно и приятно покачивал бедрами и радовал глаз удивительной округлостью жестов. Речь у него была изысканная, можно сказать образцовая, а из-под его отлично сшитой шелковисто-черной сутаны выглядывали черные шелковые чулки и лакированные туфли. Правда, масоны и антипаписты утверждали, будто он вынужден постоянно носить лакированную обувь из-за того, что у него потеют и скверно пахнут ноги, но мне это и посейчас кажется злостным измышлением.

Несмотря на то что я предстал перед ним впервые, он своей белой пухлой рукой пригласил меня сесть за стол, разделить с ним трапезу и любезно сделал вид, что верит моим лживым показаниям: я утверждал, будто мой отец, рассматривая давно не бывший в употреблении револьвер, нечаянно всадил в себя пулю. Всему этому он счел нужным поверить по соображениям чисто политическим (в нынешние худые времена церковь бывает рада, когда к ней кто-нибудь прибегает, хотя бы с нечистой совестью), сказал мне в утешенье несколько ласковых слов и высказал пастырскую готовность отслужить панихиду и совершить обряд погребения, расходы по которому великодушно взял на себя крестный Шиммельпристер. С моих слов его преподобие сделал себе несколько заметок относительно жизненного пути покойного. Я постарался обрисовать этот путь как радостный и почетный. Потом он задал мне ряд вопросов о моих личных обстоятельствах и видах на будущее. Я отвечал на них пространно, но довольно уклончиво.

– Вы, милый сын мой, – сказал он, – до сей поры были не очень строги к себе. Но я полагаю, что не все еще потеряно, вы производите весьма приятное впечатление, и мне в особенности пришелся по душе ваш голос. Не сомневаюсь, что фортуна будет к вам благосклонна. Рожденных в счастливый час и угодных Богу я распознаю с первого взгляда, ибо судьба человека начертана на его челе письменами, которые без труда читает посвященный.

С этими словами он отпустил меня.

Радуюсь услышанному, я помчался, чтобы сообщить домашним о благоприятном исходе моей миссии. К сожалению, похороны отца, хотя и церковные, нимало не походили на величаво

торжественный обряд, который нам представлялся: народу собралось очень мало, и в этом, поскольку речь идет о жителях нашего города, ничего удивительного не было. Но куда подевались иногородние друзья, которые в хорошие времена так часто любовались фейерверками моего бедного отца и так охотно распивали с ним бутылку-другую «Бернкаслер доктор». Они не почтили его похорон своим присутствием, надо думать, не потому, что были людьми неблагородными, а потому, что все серьезное, все заставляющее вспоминать о вечности было им просто не по нутру и они избегали церемоний, способных омрачить их существование, что, конечно, свидетельствует об известной душевной низости. Явился один только лейтенант Юбель из Второго Нассауского, и лишь благодаря ему мой крестный Шиммельпристер и я оказались не единственными сопровождающими гроб к разверстой могиле.

Тем не менее предсказание духовного отца все время стояло у меня в ушах; совпадая с моими чаяниями и надеждами, оно вдобавок еще исходило от институции, которая в столь глубоких и тайных вопросах представлялась мне законополагающей. Объяснять почему – не дело профана, и все же я возьму на себя смелость хотя бы поверхностно коснуться этого предмета. Во-первых, почтенное место на одной из ступеней иерархии римской церкви, без сомнения, помогает куда тоньше разбираться в людских рангах, чем пребывание в обывательском болоте. Высказав эту самоочевидную мысль, я попытаюсь пойти еще дальше, неуклонно придерживаясь логического ее развития. Здесь речь идет о чувстве – следовательно, об элементе чувственности. Католическая же форма богопочитания, для того чтобы ввести человека в сверхчувственный мир, опирается прежде всего на чувственное восприятие, она прокладывает для него все мыслимые пути и больше, чем любая другая религия, старается проникнуть в его тайны. Ухо, привыкшее к возвышенной музыке, к гармонии, как бы предвосхищающей хоры небожителей, может ли оно оказаться недостаточно чутким и не уловить внутреннего аристократизма в звуке человеческого голоса? Глаз, искушенный в благочестивой роскоши, в красках и в формах, представляющих на земле великолепие горних чертогов, разве может он не прозреть таинственной прелести, самой природой заложенной в счастливого избранника? Орган обоняния, который всегда вдыхает услажденную ладаном атмосферу алтаря, орган, досрочно чующий благоухание святости, неужели не ощутит он нематериального и все же плотского духа, что исходит от счастливицы, от человека, рожденного в воскресенье? Тот, кому дано свершать величайшее таинство этой церкви, таинство причастия, неужели он посредством высшего чувства осязания не отличит высокую человеческую субстанцию от низменной? Лычу себя надеждой, что при помощи этих тщательно подобранных слов я по мере возможности ясно выразил свою мысль.

Во всяком случае, пророчество патера не сказало мне ничего такого, что не подтверждалось бы моими собственными ощущениями и тем, что я видел в зеркале. Правда, временами я чувствовал упадок духа, ибо мое тело, уже однажды во всей своей мифической красе нанесенное на холст рукою художника, пока что прикрывалось уродливым поношенным платьем, а мое положение в городе было не только унижительным, но и внушающим подозрение. Отпрыск семьи с весьма сомнительной репутацией, сын банкрота-самоубийцы, бросивший ученье, молодой человек без каких бы то ни было видов на будущее, я постоянно чувствовал на себе пристальные, хмурые взгляды своих сограждан – людей достаточно пустых и для меня лишенных всякого обаяния; но в силу особенностей моей натуры эти взгляды больно ранили меня, почему я, не имея еще возможности уехать из нашего города, старался как можно меньше показываться на улице.

Издавна присущие мне робость и нелюдимость, кстати сказать, отлично уживались в моем сердце с алчной приверженностью к жизни и к людям. Вдобавок эти хмурые взгляды выражали – и не только у женской половины населения – нечто вроде невольного участия, что при более благоприятных обстоятельствах очень бы меня обнадежило.

Ныне, когда лицо мое исхудало и тело начало стариться, я могу сказать без лишней скромности, что в мои девятнадцать лет сбылось все, что сулило мне отрочество, и в ту пору я, даже по собственному мнению, расцвел в прелестного юношу. Белокурый и в то же время смуглый, с мерцающими синими глазами, со скромной улыбкой на губах, с шелковистыми волосами, зачесанными кверху надо лбом, я должен был привлекать к себе сердца моих простодушных земляков – если бы взгляд их не затуманивало неприятное сознание ложности моего положения, – как впоследствии привлекал сердца жителей всех частей света. Моя фигура, удовлетворявшая даже взыскательный глаз крестного Шиммельпристера, была отнюдь не плотной, но равномерно и пропорционально развитой, как у любителей спорта и гимнастических игр, хотя я, истый мечтатель, в жизни не занимался физическими упражнениями и ничего не делал для своего физического развития. К тому же кожа моя была столь нежна, что, несмотря на свою стесненность в деньгах, я всегда покупал самое мягкое и дорогое мыло, так как дешевые сорта заставляли ее кровоточить.

Врожденные преимущества, природные дары, неизменно внушают их обладателю живой и благоговейный интерес к своему происхождению, потому-то я так любил рыться в изображениях предков, в фотографиях, дагеротипах, медальонах и силуэтах, служивших мне подспорьем в моих исследованиях; горя желанием узнать, кому я обязан наибольшей благодарностью, я старался отыскать в лицах предков черты, подготовившие возникновение моей особы. Но сколько-нибудь значительным успехом эти поиски не увенчались. Правда, в облике некоторых родичей со стороны отца можно было заметить подготовительные упражнения природы (я ведь уже говорил, что и сам мой бедный отец, несмотря на свою тучность, был на короткой ноге с грациями). Но в общем, я убедился, что особенно благодарить мне некого; и если отказаться от мысли, что в какой-то неизвестный момент история моего рода претерпела загадочные коллизии, вследствие которых одним из моих предков стал аристократ или вельможа, то для обоснования преимуществ, дарованных мне природой, я должен был углубиться в размышления над самим собой.

Почему, собственно, слова консигториального советника произвели на меня такое огромное впечатление? На этот вопрос я и сейчас могу ответить с меньшей уверенностью, чем в те далекие годы. Он меня похвалил, за что? За приятный голос. Но ведь это свойство или дар, явно ничего общего с понятием «заслуги» не имеющий, и считать его похвальным так же не принято, как порицать кого-нибудь за косоглазие, хромоту или зуб. Ведь, по мнению нашего буржуазного общества, хвалы или хулы достойно только нравственное, а не природное начало; восхвалять начало природное считается нелепым и несправедливым. То, что Шато, видимо, держался обратного мнения, поразило меня своей новизной и смелостью, показалось мне выражением сознательной и упрямой независимости, к которой примешивалось даже нечто от языческой простоты, и натолкнуло меня на приятные размышления. «Очень трудно, – думал я, – провести границу между врожденным и нравственным преимуществами. Все эти портреты дядьев, теток и дедов ясно доказали, сколь немногие из моих преимуществ перешли ко мне по наследству. Но в таком случае, значит, я сам в какой-то мере выработал их? Разве верное чувство мне не подсказывает, что достоинства, которыми я обладаю, в значительной мере моя заслуга, что голос мой мог быть вульгарным, взгляд тупым и ноги кривыми, если б душа моя тому попустительствовала? Тот, кто по-настоящему любит жизнь, создает себя ей в угоду. Иными словами, если природные достоинства и не являются следствием нравственных усилий, то похвалы, которые патер расточал благозвучию моего голоса, по здравому размышлению, отнюдь не простая его причуда».

Глава третья

Через несколько дней после того, как бранные останки моего отца были преданы земле, все мы во главе с крестным Шиммельпристером собрались на семейный совет. Нам было официально предложено к Новому году очистить дом, а посему принятие решения относительно дальнейшего нашего местожительства стало насущной необходимостью.

Я до сих пор не знаю, как благодарить крестного за советы и участливое внимание, с каким он, имея в виду каждого из нас в отдельности, разработал планы на будущее, впоследствии оказавшиеся (в частности, для меня) поистине благодетельными. Семейный совет состоялся в нашей бывшей гостиной, некогда уютно обставленной мягкой мебелью и полной веселья и праздничного угара, а теперь голой, разгромленной, почти пустой. Мы сидели в углу на бамбуковых стульях с ореховыми сиденьями, когда-то стоявших в столовой, за зеленым столиком – остатком гарнитура, состоявшего издвигающихся один в другой четырех или пяти хрупких закусовых столиков.

– Круль, – начал крестный (в фамильярном своем дружелюбии он и мать обычно называл по фамилии). – Круль, – сказал он и обратил к ней свой крючковатый нос и пронзительные глаза без бровей и ресниц, своеобразно обрамленные целлулоидными кругами очков, – вот вы нос повесили и руки опустили, а ведь совсем напрасно. На самом деле радостные и разнообразные возможности по-настоящему открываются человеку как раз после жестокой катастрофы, которую так метко называют гражданской смертью, и самое обнадеживающее положение – это то, когда нам до того плохо, что, кажется, хуже и быть не может. Уж поверьте, друг мой, человеку, который сам переживал подобные удары судьбы если не материального, то нравственного порядка. Впрочем, вам до такого состояния еще далеко, и это-то, вероятно, и подрезает вам крылья. Не падайте духом, дорогая, побольше предприимчивости. Да, в этом городе у вас со всем покончено, но что с того? Перед вами широкая дорога. Ваш личный, правда скромный, счет в Коммерческом банке еще не окончательно исчерпан. С этими деньгами вы подадитесь куда-нибудь в большой город – в Висбаден, Майнц, Кельн, пусть даже в Берлин. В кухне вы как дома, простите мне неуклюжий оборот. Вы умеете стряпать пудинг из хлебных крошек и отличное кисло-сладкое жаркое из остатков вчерашнего мяса. Кроме того, вы привыкли видеть у себя множество людей, потчевать их, занимать разговором. Итак, вы снимете несколько комнат, дадите объявление, что по сходной цене принимаете нахлебников или просто жильцов без стола, и будете жить так же, как жили до сих пор, с той только разницей, что ваши гости будут вам платить. А снисходительное отношение к людям и бодрое состояние духа позволят вам устроить приятную, уютную жизнь своим пансионерам, и я, право, буду удивлен, если ваше предприятие вскоре не начнет процветать и расширяться.

Тут крестный умолк, давая нам высказать свою восторженную признательность и радость; та, к которой он обращался, тоже в конце концов к нам присоединилась.

– Что касается Лимпхен, – продолжал он (этим ласкательным именем крестный всегда величал мою сестру), – то самым простым для нее, конечно, было бы сделаться помощницей матери и скрашивать жизнь ее постояльцев, причем я не сомневаюсь, что она проявила бы себя как достойная и энергичная *filia hospitalis*³. Но эта возможность никогда от нее не уйдет. А пока что я имею для нее в виду нечто лучшее. В дни вашего процветания она училась петь; настоящей певицы из нее не вышло – голос у Олимпии слабый, хотя он не лишен благозвучия и в сочетании с ее внешними данными производит весьма приятное впечатление. Салли Меершаум из Кельна – мой давнишний друг, а главное из его предприятий – это театральное агентство. Он с легкостью устроит Олимпию в опереточную труппу, пусть поначалу даже не первого

³ Юная хозяйка (*лат.*).

ранга, или в какую-нибудь певческую капеллу; свой гардероб на первых порах она пополнит из моей костюмерной. Начало ее карьеры будет, по всей вероятности, нелегким, возможно, что ей придется вступить в борьбу с жизнью. Но если она проявит характер (который важнее таланта) и сумеет извлечь профит из своего дарования, состоящего из множества разнообразных дарований, то быстро пойдет в гору и, кто знает, может быть, достигнет блистательных вершин. Я могу, конечно, только указать вам направление, наметить возможности – остальное уж ваше дело.

Взвизгнув от радости, моя сестра кинулась на шею советчику и спрятала голову у него на груди.

– А теперь, – продолжал он, и по всему было видно, что следующий пункт он принимает еще ближе к сердцу, – теперь перейдем к нашему «оборотню» (читателю понятно, на что он намекал, называя меня этим именем). – Я немало поломал себе голову над проблемой его будущего и, несмотря на значительные трудности, думается все же, нашел решение, конечно временное. По этому поводу я даже затеял переписку с заграницей, точнее говоря с Парижем, – сейчас я объясню вам, с кем именно и на какой предмет. По моему разумению, надо прежде всего открыть ему дорогу в жизнь, которая, как в силу прискорбного недоразумения полагают почтенные вершители судеб, для него закрыта. Как только он очутится на просторе, течение подхватит его и, я в этом уверен, принесет к прекрасному берегу. По моему мнению, наилучшие виды на будущее сулит Феликсу работа в большой гостинице, хотя бы в должности кельнера: я говорю не только о прямом пути (который тоже может привести к весьма почтенному положению в обществе), но и о всевозможных отклонениях и неожиданных кружных тропинках, которые не в меньшей мере, чем проторенные дороги, порой благоприятствуют счастливцу. Я помянул о переписке. Так вот, я списался с директором гостиницы «Сент-Джемс энд Олбани», Париж, улица Сент-Оноре, неподалеку от Вандомской площади (самый центр, следовательно; я покажу вам это место на плане Парижа), с Исааком Штюцли, – мы с ним на ты еще с моих парижских времен. Я не только выгоднейшим образом отозвался о воспитании и характере Феликса, но поручился за тонкость его обращения и расторопность. Он немного говорит по-французски и по-английски и в ближайшее время должен еще подучиться этим языкам. Штюцли готов сделать мне одолжение и взять его на испытательный срок, конечно без жалованья. Питание и помещение он получит бесплатно, а ливрею, которая, несомненно, будет ему к лицу, сумеет приобрести по достаточно льготной цене. Одним словом, это путь в жизнь, благоприятное поприще для развития его дарований, и я надеюсь, что наш Феликс сумеет угодить знатым постояльцам «Сент-Джемс энд Олбани».

Само собой разумеется, что я высказал этому прекрасному человеку не меньше благодарности, чем моя мать и сестра. Ненавистная ограниченность родного городишка, казалось, уже уходила в прошлое, широкий мир открывался передо мною; и Париж, город, при одном воспоминании о котором мой бедный отец впадал в сладостную истому, уже вставал перед моим внутренним взором во всем своем жизнерадостном великолепии. Но на деле все было не так просто, вернее, как говорят в простонародье, была тут одна загвоздка: я не имел права покинуть родину, так как подлежал призыву на военную службу. Государственная граница являлась для меня непреодолимым препятствием, покуда в моих бумагах черным по белому не будет стоять, что я освобожден от воинской повинности; вопрос о военной службе тем более тревожил меня, что я, как известно, не пользовался привилегиями окончивших учебное заведение и в случае, если б меня признали годным, должен был бы явиться в казармы как обыкновеннейший рекрут. Эта подробность, о которой я до сих пор просто старался не думать, в минуту, исполненную столь радужных надежд, тяжелым камнем легла мне на сердце. И когда я нерешительно об этом заговорил, выяснилось, что ни моя мать, ни сестра, ни сам Шimmelпристер не принимали этого обстоятельства в расчет – первые по женскому своему неведению, последний же потому, что, всю жизнь занимаясь живописью, имел очень неточное представление о

таких формальностях. С досадой заявив, что он совершенно беспомощен в подобном деле, ибо знакомств с военными врачами не имеет, а следовательно, не может повлиять на тех, от кого это зависит, крестный предложил мне выпутываться из петли собственными силами.

Итак, в этом щекотливом деле я был предоставлен самому себе; благосклонный читатель вскоре узнает, насколько я оказался способным с ним управиться. Сначала мой живой юношеский ум был отвлечен предстоящей переменой обстановки, всевозможными приготовлениями к переезду. Поскольку моя мать намеревалась обзавестись на хлебниками уже к Новому году, то переселение наше должно было состояться еще перед Рождеством. Местом нашего нового жительства был избран Франкфурт-на-Майне: в таком большом городе легче может подвернуться счастливая случайность.

Как легко, как нетерпеливо, презрительно и жестокосердно покидает жаждущий простора юноша свою тесную родину, ни разу даже не оглянувшись на ее башни и холмы, покрытые виноградниками! Он уже отчужден от нее и впредь будет отчуждаться еще больше, но ее до смешного знакомый образ останется жить в глубинах его сознания и после долгих лет забвения вдруг снова всплывет на поверхность. Прошлое покажется ему тогда достойным уважения, в своих делах и успехах на чужбине, при каждой жизненной перемене, при каждом новом взлете он будет оглядываться на тот покинутый малый мирок, станет спрашивать себя, что бы сказали об этом или уже говорят там, в родном его городе. Так сделает любой одаренный юноша, к которому родина была глуха, неблагожелательна, несправедлива. Зависая от нее, он всем существом ей противился, но после того, как ей пришлось его отпустить и она, вероятно, о нем уже позабыла, он добровольно предоставит ей право голоса в своей жизни. Более того, по истечении пестрых, полных событий лет его повлечет взглянуть на гавань, из которой он отплыл в житейское море, он не сможет противостоять искушению на удивленье тамошним жителям и с боязливой насмешкой в сердце, узанным или неузнанным, побродить среди старых стен в том новом, чуждом и блистательном обличье, которое успел приобрести. В должном месте я расскажу, как это было в моем случае.

Я написал в Париж учтивое письмо господину Штюцли, сообщая ему, что вынужден повременить с отъездом до того, как будет решено, годен я или нет к военной службе; при этом я выражал ни на чем не основанную уверенность, что по причинам, не имеющим отношения к будущей моей работе, ответ окажется благоприятным.

Остатки нашего имущества приобрели вид тюков и чемоданов, в одном из которых лежало полдюжины роскошных рубашек с крахмальными манишками; крестный вручил их мне на прощанье, выразив уверенность, что в Париже они сослужат мне добрую службу. И вот в тусклый зимний день мы все трое, высунувшись из окна отходящего поезда, видим, как исчезает трепыхающийся на ветру красный платок нашего друга. С этим прекрасным человеком мне довелось свидеться еще только однажды.

Глава четвертая

Не буду долго останавливаться на первых суматошных днях нашего пребывания во Франкфурте. Мне неприятно вспоминать о той жалкой роли, которую мы играли в этом богатейшем торговом городе, к тому же я боюсь наскучить читателю подробным изложением наших тогдашних обстоятельств. Умолчу и о грязной харчевне или постоялом дворе, меньше всего заслуживающем названия гостиницы, где мы с матерью (сестра Олимпия сошла с поезда в Висбадене, чтобы попытаться счастья в кельнском агентстве Меершаума) из соображений экономии провели много ночей: я спал там на диване, который просто кишел кусачими, злобными насекомыми. Умолчу и о мытарствах, которые мы претерпели, разыскивая в этом большом, бессердечном, враждебном беднякам городе хоть мало-мальски подходящую квартиру, покуда наконец не наткнулись в одном из отдаленных кварталов на помещение, в известной мере отвечающее житейским планам моей матери. Это были четыре маленькие комнаты и малюсенькая кухня в нижнем этаже флигеля с видом на безобразный двор и без единой капли солнечного света. Но поскольку эта квартира стоила всего сорок марок в месяц, а нам было не к лицу строить из себя прихотливых жильцов, то мы тут же дали задаток и поспешили в нее перебраться.

В молодости любая новизна бесконечно привлекательна, и хотя это унылое жилище не могло идти ни в какое сравнение с нашим светлым загородным домом, на меня в столь необычной обстановке нашел приступ необузданного веселья и радости. Я рьяно помогал матери в неотложных работах: передвигал мебель, вынимал из ящиков со стружками тарелки и чашки, старался покрасивее расставить в шкафу и на полках кухонную посуду и терпеливо вел переговоры с хозяином, омерзительно пузатым мужчиной подлейшего характера, относительно необходимого ремонта, от которого этот брюхач так упорно уклонялся, что матери пришлось за собственный счет произвести кое-какие поделки, дабы предназначенные ею к сдаче комнаты не имели слишком неприглядного вида. Ей это далось очень нелегко, так как расходы по переезду оказались весьма значительными и в случае задержки с пансионерами делу, еще не открытому, грозило банкротство.

В первый же вечер, когда мы с матерью, стоя в кухне, ужинали яичницей-глазуньей, решено было в память доброго старого времени наречь наше предприятие «Пансион Лорелея», и мы тут же вместе написали открытку, испрашивая на то одобрения крестного Шиммельпристера. Уже на следующий день я побежал в редакцию одной из наиболее читаемых франкфуртских газет со скромно, но заманчиво составленным объявлением; предполагалось, что напечатанное жирным шрифтом поэтическое название будущего пансиона непременно проймает франкфуртских жителей. Относительно же дощечки, которую мы намеревались прибить у дверей, для того чтобы привлечь внимание прохожих к нашему предприятию, мы с матерью несколько дней пребывали в затруднении – она оказалась нам не по средствам. Как же описать нашу радость, когда на шестой или седьмой день нашего водворения во Франкфурте из родного города вдруг прибыла посылка весьма необычной формы; отправителем ее значился крестный Шиммельпристер, а в ящике лежала продырявленная по всем четырем углам прямоугольная дощечка, на которой красовалась собственноручно сотворенная им женская фигура с наших этикеток, в одежде из одних колец и браслетов, и надпись золотистой масляной краской: «Пансион Лорелея». Эта вывеска, прибитая к углу выходившего на улицу дома, выглядела очень эффектно: мы сумели так ее прикрепить, что дева скал указывала своей униженной драгоценностями рукой на подворотню и двор, в котором находилась наша квартира.

И правда, скоро объявились постояльцы; первым пришел не то техник, не то инженер-механик, серьезный, молчаливый, даже угрюмый и явно недовольный своим жребием молодой человек, который, однако, платил аккуратно и вел размеренный, степенный образ жизни. Он не прожил в «Пансионе Лорелея» и недели, как у нас оказалось еще двое нахлеб-

ников, принадлежавших уже к театральному миру, а именно: комический бас, оставшийся без работы из-за полной потери голосовых средств, толстый и смешной с виду, но озлобленный свалившимся на него несчастьем. Он тщетно пытался нескончаемыми упражнениями укрепить свой голос, и когда он пел эти упражнения, казалось, что кто-то, задыхаясь, взывает о помощи из пустой бочки. Вместе с ним явилась его тень женского пола – рыжая хористка в неопрятном капоте, с длинными, выкрашенными в розовый цвет ногтями, – до ужаса худое и, видимо, слабогрудое создание, которое наш певец, то ли за какие-нибудь упущения, то ли просто чтобы дать выход накопившейся горечи, нередко «учил» посредством своих подтяжек, что, впрочем, ни разу не поколебало ее безусловной уверенности в чувствах своего сожителя.

Итак, эта пара занимала одну комнату, механик – другую, третья служила нам столовой, где все мы ели обеды, умело приготовленные из мизерного количества продуктов. Не желая, по соображениям благопристойности, делить комнату с матерью, я спал на кухне, постилая себе постель на лавке, и мылся над раковиной, в уверенности, что такое мое житье долго продлится не может.

«Пансион Лорелея» начал процветать, нам приходилось тесниться, уступая место гостям, и моя мать уже с полным правом помышляла о том, чтобы расширить предприятие и нанять кухарку. Одним словом, дело налаживалось, и помощь моя была не нужна, а до отъезда в Париж или до дня, когда мне придется повязать двухцветный шарф, у меня оставалось еще много свободного времени, столь желанного и необходимого всякому незаурядному юноше. Образование дается не тупой учебной повинностью, оно – дар свободы и досуга; его не добиваются в поте лица, а вдыхают, как воздух; на него работают незримые инструменты. Потайное усердие чувства и мысли, отлично уживающееся с тем, что люди считают пустой тратой времени, ежечасно обогащает тебя знаниями, я бы даже сказал, что на избранника судьбы образование нисходит во сне. Ибо поистине надо быть созданным из податливого материала, чтобы стать просвещенным человеком. Никто не усваивает того, что не заложено в нем от рождения, и не алчет того, что ему чуждо. Тупому человеку образования не добиться, кто его приобрел, никогда не был мужланом. И здесь опять-таки очень трудно провести прямую и четкую демаркационную линию между личной заслугой и тем, что мы называем «благоприятными обстоятельствами»; ведь если доброжелательная судьба в самый подходящий момент забросила меня в большой город и от своих щедрот одарила меня временем, то, с другой стороны, начисто лишенный средств, которые раскрывают перед человеком двери тех мест, где он может пополнить свое образование и получить духовное наслаждение, я был обречен заглядывать в цветущий таинственной прелестью сад только через великолепную решетку.

В ту пору я предавался сну даже чрезмерно, спал большей частью до обеда, нередко еще позднее, и, встав, наспех съедал в кухне какие-нибудь разогретые, а не то и холодные остатки, потом закуривал папиросу, дар нашего механика (он знал, как я падох до этой сладостной утехи и как редко могу себе ее позволить), и уходил из «Пансиона Лорелея» уже в предвечернее время, часа в четыре, в пять, когда светская жизнь в городе достигает высшей точки, богатые женщины отправляются с визитами или ездят в экипажах из лавки в лавку, кафе наполняются посетителями и витрины начинают сиять огнями. В это время я пускался в свои одинаково поучительные и занимательные прогулки по многолюдным улицам прославленного города. И частенько, внутренне обогащенный, возвращался домой уже при бледном свете зари.

А теперь представьте себе невзрачно одетого юношу и то, как он, без друзей и знакомых, одиноко пробирается сквозь пеструю сутолоку чужого города! У него нет денег, чтобы насладиться радостями цивилизации. Об этих радостях так проникновенно возвещают расклеенные на столбах афиши, что даже самый тупоголовый малый неминуемо должен утратить спокойствие и почувствовать прилив любопытства, а он, столь легко возбудимый, вынужден довольствоваться тем, что читает их названия, узнает о том, что они существуют. Он видит празднично освещенные подъезды театров, но ему нельзя слиться с людским потоком, устрем-

ляющим в них, он стоит, ослепленный ярчайшим светом, который огни мюзик-холлов и варьете отбрасывают на тротуар, где у дверей торчит сказочный великан мавр в треуголке, держа в руках жезл, с лицом, обесцвеченным, как и пурпурная его ливрея, непомерной яркостью света, и, скаля зубы, зазывает гостей на каком-то непонятном наречии; а бедному юноше нельзя откликнуться на эти зазывания! Но чувства его возбуждены, ум напряжен; он смотрит, наслаждается, воспринимает, и если шум и толчея поначалу оглушают, страшат и сбивают с толку уроженца сонного городишка, то у него все же хватает юмора и самообладания, чтобы постепенно освоиться с этой суматохой и даже обратить ее на пользу себе и своей жажде познания.

А какая великолепная выдумка – витрины! Как хорошо, что лавки, базары, художественные салоны – эти склады роскоши – не скопидомничают, не таят сокровищ в своих недрах, а широко, щедро, прельстительно выставляют их напоказ за широкими стеклами. В зимние вечера эти выставки сияют, точно солнечный день; гирлянды маленьких газовых горелок, пристроенных внизу окна, не дают стеклам покрыться изморозью. Я стоял возле них, защищенный от холода только шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи (пальто, доставшееся мне в наследство от моего бедного отца, давно уже было заложено в ломбарде за весьма скромную сумму), и пожирал глазами все эти прекрасные, изящные, дорогостоящие вещи, не обращая внимания на холод и сырость, пронизывавшие меня до мозга костей.

В витринах мебельщиков устроены целые комнаты: кабинеты строгие и комфортабельные; спальни, демонстрирующие утонченность интимных привычек; очаровательные столовые, где на столе, покрытом камчатной скатертью, окруженном удобными стульями, стоят цветы, мерцает серебро, тончайший фарфор, ломкие бокалы; аристократические гостиные в строгом стиле, с канделябрами, каминами и креслами, обитыми гобеленом. Я не мог досыта наглядеться на то, как ножки уютных кресел, такие изящные и благородные, тонут в багряном свечении персидских ковров. Чуть подале мое внимание привлекли витрины элегантного портняжного заведения. Здесь я увидел весь гардероб богача или вельможи – от бархатного шлафрока или подбитой атласом домашней куртки до торжественно-черного фрака, от воротничка изысканнейшей формы, точно сделанного из алебаstra, до ласковых гамаш и ослепительно блестящих лакированных туфель, от рубашек в полоску или крапинку до драгоценной шубы. Здесь же перед моим взором предстали и дорожные вещи богатых путешественников, эти вместилища роскоши из эластичной телячьей шкуры или ценнейшей крокодиловой кожи, с виду состоящей из сплошных заплат. У этих витрин я познакомился с принадлежностями красивой, изысканной жизни: флаконами, щетками, несессерами, футлярами для провизии и складными спиртовками в блестящем никеле. Среди всех этих предметов были соблазнительно разложены пестрые жилеты, великолепные галстуки, тончайшее белье, шляпы на атласной подкладке, замшевые перчатки и шелковые носки. Созерцая всю эту роскошь, юноша мог усвоить обиход элегантного джентльмена вплоть до последней удобно выгнутой пуговицы. А затем, стоило мне только, осторожно лавируя между звенящими трамваями и экипажами, перейти улицу, как я уже оказывался у витрины магазина художественных изделий. Тут была выставлена продукция изящных ремесел, вещи, предназначенные тешить просвещенный, опытный глаз: картины выдающихся мастеров, всевозможные зверюшки из фарфора, красивая керамика, бронзовые статуэтки; руки мои так и тянулись обласкать их стройные, благородные тела. А что значит блеск несколькими шагами дальше, такой блеск, что у прохожего ноги прирастают к земле? Это витрина известного ювелира и золотых дел мастера, и ничто, ничто, кроме хрупкого стекла, не отделяет продрогшего мальчика от всех сокровищ сказочной страны. Здесь у меня, больше чем где бы то ни было, безудержный восторг соединился с неутолимой жаждой познания. Бледно мерцающие на кружевах нити жемчуга с крупной, как вишня, жемчужиной посередине и равномерно уменьшающимися по мере приближения к бриллиантовому замку, – нити, которые стоят целое состояние; бриллиантовые украшения, холодно сверкающие на темном бархате,

переливающиеся всеми цветами радуги и достойные украшать шею, грудь и голову королев; гладкие золотые портсигары и рукоятки для тростей, соблазнительно разложенные на стеклянных подставках; между ними небрежно рассыпанные драгоценные камни, поражающие глаз величавой игрою красок: кроваво-алые рубины, смарагды – ярко-зеленые, как хрусталь, сапфиры, излучающие звездный свет из своей прозрачно-синей глубины; аметисты, о которых говорят, будто их изумительная лиловость – следствие органической примеси; опалы, меняющие цвет в зависимости от точки, с которой ты смотришь на них; несколько топазов и еще какие-то неведомые камни всех оттенков солнечного спектра. Это зрелище не только услаждало мои чувства, я изучал камни, всем существом своим углублялся в них, сравнивал их и мысленно взвешивал; в те дни я впервые осознал свою любовь к драгоценным камням, этим совершенным по составу, но, собственно, ничего не стоящим кристаллам, простейшие элементы которых соединяются в бесценное целое лишь благодаря игривой прихоти природы; и тогда же я заложил основу серьезных знаний, впоследствии приобретенных мной в этой волшебной-прекрасной области.

Не знаю, говорить ли мне еще о цветочных магазинах, из дверей которых, стоило им приоткрыться, лились влажно-теплые благоухания рая, а в окнах стояли корзины, украшенные огромными атласными бантами, те, что в знак внимания посылаются женщинам. Или о писчебумажных лавках; заглядывая в их окна, я узнал, какую бумагу должен выбирать джентльмен для своей корреспонденции, и еще – что на ней должны быть выгравированы его инициалы, корона и герб. Или о витринах парфюмеров и парикмахеров, где в больших граненых флаконах были выставлены французские духи и ароматические эссенции, а в роскошно обитых футлярах лежали всевозможные аксессуары для полировки ногтей и массажа лица. Дар созерцания, а им я обладал в ту пору, составлял для меня все – это дар, воспитующий уже потому, что он обращен на вещественное, на все заманчиво-поучительное, что только есть в мире. Но насколько же глубже бывают затронуты чувства, когда ты пожираешь глазами не вещи, а людей – возможность, щедро предоставленная мне большим городом, вернее, его фешенебельными кварталами, в которых я преимущественно вел свои наблюдения! Как совсем по-другому, нежели безжизненные вещи, занимают люди мысль и внимание юноши!

О, эти сцены светской жизни! Никогда не являлись они взору более восприимчивому! Кто знает, почему одна из картин, наполнявших мое сердце тоской и вожделением, картина, ничем не примечательная и вполне заурядная, так врезалась мне в память, что я и сейчас еще трепещу от восторга, вспоминая о ней? Нет, я не в силах противиться искушению воссоздать ее на этих страницах, хотя отлично знаю, что рассказчик – а им я сейчас являюсь – не должен отвлекать читателя происшествиями, из которых, вульгарно выражаясь, «ничего не происходит», ибо они не способствуют развитию того, что принято называть «действием». Но, может быть, хоть при описании собственной жизни дозволено руководствоваться велениями сердца больше, чем законами искусства?

Еще раз повторяю: ничего особенного в этой картине не было, но она была очаровательна. Место действия находилось у меня над головой – балкон бельэтажа большой гостиной «Франкфуртское подворье». Однажды зимним вечером на него вышли – да, да, прошу прощения, так просто все и обстояло – двое молодых людей не старше меня, по-видимому брат и сестра, может быть даже двойняшки. Головы у них были не покрыты, на себя они тоже ничего не накинули, из озорства. Оба темноволосые, явно уроженцы заморских стран, то ли южноамериканцы испано-португальского происхождения, то ли аргентинцы или бразильцы, а может быть – я ведь просто гадаю, – может быть, и евреи – предположение, нисколько не умаляющее моего восторга, так как воспитанные в роскоши дети этого племени бывают очень и очень привлекательны. Оба были до того хороши, что словами не скажешь, и юноша по красоте не уступал девушке. Они уже были одеты для вечера; на манишке молодого человека я заметил бриллиантовые запонки, у девушки в темных, красиво причесанных волосах сверкал

бриллиантовый аграф, другой точно такой же был приколот на груди, там, где красноватый бархат платья переходил в прозрачное кружево; из таких же кружев были у нее и рукава.

Я дрожал за их туалет, ибо несколько мокрых снежинок, покружив в воздухе, уже легли на темные кудри брата и сестры. Да и вся-то их ребяческая шалость длилась не больше двух минут и была затеяна, верно, только для того, чтобы, со смехом перегнувшись через перила, посмотреть, что творится на улице. Затем они сделали вид, будто у них зуб на зуб не попадает от холода, стряхнули снежинки со своего платья и скрылись в комнату, где тотчас же зажегся свет. Исчезла чудесная фантазмагория, исчезла, чтобы уже никогда не возникнуть вновь. Но я еще долго стоял и смотрел поперек фонарного столба на балкон, мысленно пытаюсь проникнуть в жизнь этих существ. И не только в эту ночь, но еще много ночей кряду, когда я, усталый от ходьбы и созерцания, засыпал на своей кухонной скамье, снились мне эти двое.

То были любовные сны, исполненные восторга и жажды слияния. Иначе я сказать не могу, хотя взволновало меня не отдельное, а двуединое явление – мельком увиденная пара, сестра и брат. Иными словами – существо моего пола и пола противоположного, то есть прекрасного. Но красота возникла здесь из двуединства, из очаровательного двойного повторения, и я отнюдь не уверен, что образ юноши на балконе – если не говорить о жемчужинах в его манишке – хоть сколько-нибудь взбудоражил бы мои чувства, как сомневаюсь и в том, чтобы девушка без ее мужского повторения могла заставить мой дух предаться столь сладостным мечтаньям. Любовные сны – сны, которые я люблю, пожалуй, именно за первоизданную нераздельность и неопределенность, за двусмысленность, а стало быть, полносмыслие, охватывающее человеческую природу в двуряде обоих полов.

«Мечтатель и разиня! – уже слышу я голос читателя. – Где же твои приключения? Уж не собрался ли ты на протяжении всей книги занимать нас чувствительными lamentациями и треволениями твоей сладострастной расслабленности. Что ж, так ты и продолжал прижиматься лбом и носом к огромным стеклам и сквозь щелку в кремовых занавесах заглядывать внутрь элегантных ресторанов или стоял, одурманенный пряными запахами, проникавшими из кухонь, и смотрел, как кельнеры обслуживают избранных франкфуртцев, сидящих за маленькими столиками, на которых стоят канделябры со свечами, затененными изящными экранчиками, и диковинные цветы в хрустальных вазах?»

Да, все это я проделывал и только удивляюсь, как метко удалось читателю описать зрительные наслаждения, похищенные мною у красивой жизни; кажется, будто он и сам прижимался носом к вышеупомянутым стеклам. Что же касается «расслабленности», то он скоро поймет, сколь неуместно здесь это определение и, как джентльмен, поспешит от него отказаться, предварительно извинившись передо мной. Но пора уже довести до его сведения, что, не ограничиваясь созерцанием, я искал и нашел способ прийти в известное соприкосновение с миром, к которому влекла меня моя природа, а именно: по окончании спектаклей я терся у театральных подъездов и, будучи малым ловким и услужливым, подзывал заждавшиеся экипажи для избранной публики, когда она, смеясь и болтая, разгоряченная сладостным зрелищем, устремлялась к выходу. Я бросался чуть не под ноги лошадям, чтобы заставить их остановиться у крытого подъезда, где дожидались мои «клиенты», или пробегал изрядный кусок по улице, разыскивая чью-то карету, усаживался на козлы рядом с кучером и, подкатив к театру, снова соскакивал, как лакей, стремглав летел открывать дверцу и при этом отвешивал владельцам экипажа столь учтивый поклон, что они чувствовали себя озадаченными. Для того чтобы доставить к подъезду эти ландо и кареты, я искательно просил счастливых, которым они принадлежали, назвать мне свое имя и не знал большего удовольствия, как звонким голосом выкрикнуть его в воздух и обязательно с прибавлением титула, к примеру: «Карету господина тайного советника Штрейзанда! Господина генерального консула Акерблома! Господина полковника Штраленбейма или Адельслебена!»

Некоторые носители особенно мудреных имен колебались, прежде чем назвать их, не надеясь на мою способность выговорить таковые. Одна супружеская чета, например, которую сопровождала взрослая, но, видимо, незамужняя дочь, носила фамилию Крен де Монт-ан-Флер; эти люди были прямо-таки растроганы корректной элегантностью, с которой я, точно петух на заре, прогорланил их поэтически цветистое, сплошь состоящее из хруста и шелеста имя. Заслышав его в отдалении, старик кучер немедленно подал своим господам старомодную, но чисто вымытую карету, запряженную парой откормленных буланых.

Вожделенные монеты, порой даже серебряные, скользили мне в руку за эти услуги, оказанные сильным мира сего. Но моему сердцу дороже были менее весомые и более обнадеживающие награды, иногда выпадавшие мне на долю, ненароком подмеченные знаки благоволения со стороны большого света: приятно удивленный взгляд, остановившийся на моей особе, любопытная улыбка. Я так заботливо отмечал про себя все эти скромные успехи, что еще и теперь мог бы поделиться воспоминаниями если не о любом из них, то уж, безусловно, о каждом мало-мальски значительном.

Как странно обстоит дело, если вдуматься поглубже, с человеческим глазом, этой жемчужиной органического строения, когда он останавливается, собираясь сосредоточить свой влажный блеск на другом человеческом существе. Изумительный этот студень, что состоит из такой же обыкновенной материи, как и все творение, подобно драгоценным камням, наглядно показывает нам: материя – ничто, все – удачное и замысловатое ее сочетание. Покуда плесень, скопившаяся в нашей орбите и предназначенная к тому, чтобы со временем, разлагаясь в могиле, вновь смешаться с жидкой грязью, одухотворена хоть искоркой жизни, ей дано строить и перекидывать воздушный мост через любую пропасть отчуждения, могущую возникнуть между людьми!

О явлениях тонких и трудно уловимых говорить надо тоже без всякого нажима, а, следовательно, отступления допустимы здесь лишь при соблюдении сугубой осторожности. Счастье можно испытать только на двух полюсах человеческих взаимоотношений – где *еще* или *уже* не возникают слова: во встрече глаз и в объятии; только там царят безусловность, свобода, тайна и глубокая откровенность. Все отношения в промежутке между этими полюсами – не теплы и не холодны, условны, ограничены, скованы принятой формой светской условности. Здесь властвует слово, это слабое, половинчатое средство, первое порождение цивилизованной умеренности, настолько чуждое страстной и молчаливой сфере природы, что можно было бы сказать: любое слово само по себе – фраза, риторика. И это говорю я, задавшийся целью написать свою автобиографию и, уж конечно, прилагающий все старания, чтобы дать ей наилучшее беллетристическое выражение.

Глава пятая

Но мне кажется, читатель уже начинает опасаться, что за всеми этими отступлениями я легкомысленно позабыл о нависшей надо мной угрозе военной службы, а потому спешу заверить его, что дело обстояло совсем не так и что я, напротив, почти все время с тоской размышлял об этом роковом для меня вопросе. Правда, по мере того как я мысленно распутывал завязавшийся узел, моя тоска уступала место тому радостному стеснению сердца, которое мы чувствуем, готовясь направить все свои способности на решение большой, даже грандиозной задачи, но... тут я должен попридержать перо, ибо поддаться искушению и забежать вперед было бы весьма нерасчетливо. Поскольку я все больше и больше укрепляюсь в намерении опубликовать свое сочинение, конечно, если мне будет суждено его закончить, то я не вправе пренебрегать теми положениями и правилами, которыми руководствуются романисты, стремясь возбудить любопытство и волнение читателя; не устояв перед соблазном и наперед выболтав все самое интересное, я бы прежде времени расстрелял свой порох и, конечно, грубо нарушил бы упомянутые правила.

Прежде всего замечу, что я с большим тщанием, можно даже сказать – строго научно, приступил к делу, остерегаясь недооценивать трудности, которые могли мне встретиться. Действовать наобум в серьезных случаях – не моя метода; напротив, я всегда старался невероятно дерзкую, по обывательскому мнению, отвагу сочетать с холодной рассудительностью и продуманнейшей осторожностью, дабы однажды начатое не кончилось для меня поражением, позором и осмеянием, и это стало залогом моих успехов. В данном случае я не только разузнал все подробности относительно предстоявшего мне прохождения медицинского осмотра, но приобрел самые точные сведения о требованиях, предъявляемых к состоянию здоровья военнообязанного, почерпнув их отчасти из разговора с нашим пансионером-механиком, в свое время отбывавшим военную службу, отчасти же из многотомного «Всеобщего справочника», который этот сокрушавшийся о своей недостаточной образованности человек водрузил на полке у себя в комнате. Наметив в общих чертах план действий, я скопил полторы марки из чаевых, полученных у театральных подъездов, и купил выставленный в окне книгопродавца медицинский труд, в чтение которого тут же и погрузился не только с великой горячностью, но и с большой пользой для себя.

Талант нуждается в знаниях, как корабль в песчаном балласте, но не менее достоверно и то, что мы по-настоящему усваиваем, более того, что мы имеем право усваивать лишь те знания, которые талант жаждет обрести в особых частных случаях, когда они нужны ему позарез, чтобы при их помощи сотворить непреложную действительность, весомую реальность. Что касается упомянутой книги, то я ею буквально зачитывался, а ночью при свече, поставленной у зеркальца в нашей кухне, спешил подкрепить почерпнутые мною знания практическими упражнениями, которые всякий, если бы кому случилось их подсмотреть, счел бы крайним дурачеством; но, занимаясь этими упражнениями, я преследовал очень ясную и разумную цель! Однако ни слова более! Скажу только, что вскоре читателю будет возмещено сторицей это необходимое здесь умолчание.

Уже в конце января я, согласно предписанию, явился в часть, имея при себе чин чином выправленное метрическое свидетельство и свидетельство о поведении, взятое из полицейского участка, сдержанно-уклончивая форма которого (в справке значилось, что полиции ничего предосудительного обо мне не известно) меня по-ребячески огорчала и беспокоила. В марте, когда весна уже дала знать о себе сладостным дуновением ветерка и птичьим гомоном, я получил предписание явиться в призывной округ для медицинского освидетельствования и, взяв билет четвертого класса, немедленно отбыл в Висбаден в настроении, впрочем, довольно бодром. Я знал, что участь моя в тот день еще не решится, так как почти не было человека, кото-

рый не направлялся после предварительного осмотра в так называемую главную призывную комиссию, выносящую окончательное решение о годности или негодности рекрутов к военной службе. Ожидания мои оправдались. Процедура освидетельствования оказалась быстрой, ничем не примечательной и не оставила по себе никаких воспоминаний. Врач измерил мой рост, ширину плеч, выслушал меня, задал несколько беглых вопросов и воздержался от каких бы то ни было заключений. Отпущенный до особого распоряжения и чувствуя себя как собака на длинной сворке, то есть относительно свободным, я прогулялся по великолепным паркам, которыми изобилует богатый источник Висбаден, постоял, восхищаясь и тренируя свой вкус, у витрин роскошных курортных торговых рядов и вечером вернулся во Франкфурт.

Но прошло еще два месяца (была уже вторая половина мая, и в наших краях преждевременно установилась летняя жара), и настал день, когда моя отсрочка истекла, длинная сворка – выше я прибег к этому образному выражению – укоротилась, и мне предстояло безотлагательно явиться в комиссию. Как билось у меня сердце, когда я снова сидел среди простонародья в вагоне четвертого класса висбаденского поезда и на крыльях пара несся навстречу решению своей участи. Мои спутники, разморенные жарой, клевали носом, но мне надо было оставаться в полном обладании сил; я сидел выпрямившись, инстинктивно избегая прислоняться к спинке, и старался вообразить себе обстоятельства, при которых мне придется испытать свои силы и которые, как это всегда бывает, конечно, сложатся совсем по-иному, чем мне сейчас представляется. И хотя меня попеременно обуревали боязнь и веселость, но исход задуманного не внушал мне тревоги. Я твердо решил идти на любую крайность и, если понадобится, пустить в ход все свои душевные и физические силы (без такой готовности, по моему твердому убеждению, вообще глупо идти на серьезный риск), а потому не сомневался в моем конечном успехе. Страшила меня только неизвестность: я не знал, сколько сил мне придется собрать и принести в жертву для достижения цели. Такая свойственная мне нежная заботливость о собственной персоне легко могла бы обернуться расслабленностью или трусостью, если бы не уравновешивалась другими, более мужественными чертами моего характера.

Как сейчас вижу низкое, но большое сводчатое помещение, куда направил меня суровый перст военного ведомства, переполненное множеством молодых людей мужского пола. Комиссии отвели первый этаж обветшавшей и запущенной казармы, унылую комнату, всеми четырьмя окнами выходившую на глинистую пригородную лужайку, закиданную всевозможным мусором, щебнем, жестянками и отбросами. За некрашеным кухонным столом сидел какой-то усатый служивый, унтер-офицер или фельдфебель, и выкрикивал имена тех, кому надлежало через узкую дверь идти в закут для раздевания, отгороженный от соседней комнаты, где происходил медицинский осмотр. Повадки у этого служивого были грубые, рассчитанные на запугивание новичков. Он громко зевал, выбрасывал вперед руки и ноги или потешался над образовательным цензом тех, кого ему надлежало отправлять в «судилище». «Доктор философии», – выкрикивал он с насмешливым видом, словно говоря: «Мы эту философию из тебя выколотим, дружище!» Все это исполнило мое сердце страхом и отвращением.

Осмотр был на полном ходу, но подвигался медленно. И так как рекрутов вызывали по алфавиту, то те, чьи фамилии начинались на последние буквы, волей-неволей были обречены на долгое ожидание. Напряженная тишина царила в помещении, где собрались молодые люди самых различных сословий. Были здесь деревенские олухи и задиристые юнцы – представители городского пролетариата; господчики из торговых учеников, простодушные ремесленники, даже какой-то тип, причастный к театральному миру, чья упитанная, синяя физиономия возбуждала сдержанное веселье: лупоглазые парни неопределенной профессии, без воротников, в продранных лакированных башмаках; маменькины сынки, только что со школьной скамьи; и бледные господа, уже в летах, с остроконечными бородками и благовоспитанными манерами ученых, которые, чувствуя всю нелепость своего положения, беспокойно расхаживали по залу. Трое или четверо призывников, чьи имена должны были вот-вот выкликнуть, уже

стояли у дверей босиком, раздетые до рубахи, перекинув через плечо свое платье, со шляпой и башмаками в руках. Другие, расположившись вдоль стен на узких скамейках или бочком присевши на подоконники, уже завязали знакомство и вполголоса перебрасывались словами о своем здоровье и превратностях рекрутского набора. Временами – никто не знал, каким образом, – из комнаты, где заседала врачебная комиссия, проникали слухи, что годными признано уже много юношей, а это значило, что для еще не освидетельствованных повышались шансы на благополучный исход; впрочем, эти сообщения никто не мог проверить. В толпе перемигивались, грубовато подшучивали над теми, что стояли под всеми взглядами почти голые, так как их имена уже были названы, или направлялись к двери, сопровождаемые все более фривольным смехом, покуда злобный окрик фельдфебеля не водворял положенную тишину.

Я, по обыкновению, держался особняком, не принимая участия в праздной болтовне и соленых шутках, а когда ко мне обращались, отвечал холодно и уклончиво. Стоя у открытого окна (в переполненном зале сделался очень тяжелый воздух), я, чтобы скоротать время, смотрел то на замусоренную лужайку, то на пеструю толпу в помещении. Мне очень хотелось заглянуть в соседнюю комнату, где правила суд медицинская комиссия, чтобы получить хоть самое беглое представление о грозном штаб-лекаре, но это было невозможно, и я усиленно внушал себе, что дело не в личности этого господина и что моя судьба вовсе не в его руках, а в моих собственных. Скука тяжело давила на все умы и сердца вокруг, но я не страдал от нее. Во-первых, я от природы терпелив, могу долго обходиться без всякого занятия и люблю досуг, который одурманивающая деятельность не заволакивает, не вспугивает, не стирает из памяти. Кроме того, мне было отнюдь не к спеху приниматься за выполнение смелого и трудного урока, меня ожидавшего, и я даже радовался возможности на свободе освоиться и свыкнуться с ним.

Было уже около полудня, когда мой слух уловил имена, начинавшиеся на букву «К». Но судьба, как видно, хотела сегодня благодушно подшутить надо мной: Каммахерам, Келлерманам, Килианам, Кналлям и Кроллям, казалось, конца не будет, так что, когда наконец было произнесено мое имя и я начал разоблачаться, мои нервы были очень натянуты. Впрочем, обстоятельство это не поколебало моей решимости, а, напротив, только укрепило ее.

В день призыва я надел одну из тех крахмальных рубашек, которыми крестный снабдил меня для новой жизни и которые я из бережливости обычно не носил, но я заранее решил, что здесь хорошее белье произведет выгодное впечатление. Итак, я стоял у дверей кабинета в сознании, что мне не стыдно показаться людям между двух парней в застиранных клетчатых рубашках из бумажной материи. Насколько я мог заметить, по моему адресу не было отпущено ни одного насмешливого словца, и даже сержант за столом смотрел на меня с тем уважением, в котором человек подчиненного положения никогда не отказывает недоступному для него изяществу и щегольству. Я видел, что он сравнивает с моим обличем данные, занесенные в его список, – это занятие настолько увлекло его, что он прозевал момент, когда надо было выкрикнуть мое имя, так что я даже был вынужден спросить, не пора ли мне идти, что он тут же и подтвердил. Итак, я переступил босыми ногами порог и, оказавшись один за перегородкой, положил свою одежду рядом с одеждой моего предшественника на скамью, сунул под нее свои башмаки, снял наконец крахмальную рубашку и, аккуратно расправив, присовокупил ее к остальному гардеробу. Затем я прислушался и стал ждать дальнейших приказаний.

Напряжение мое дошло до предела, сердце билось неровно и кровь, наверно, отхлынула от лица. Но к этому состоянию примешалось и другое чувство, радостного порядка, для описания которого не так-то легко подыскать слова. Не помню уже, в виде ли эпиграфа к газетной статье, или обрывка какой-то мысли, вычитанной в тюрьме, мне однажды попала на глаза сентенция, утверждавшая, что нагота – тот образ, который нам сообщила мать-природа, – всех нас уравнивает в правах и что среди голых не может быть ни табели о рангах, ни несправедливого предпочтения. Эта мысль, очень меня рассердившая, несомненно, должна польстить черни, но в ней нет и крупицы правды, ибо подлинная табель о рангах устанавливается как раз перво-

бытной природой, и наготу можно назвать справедливой лишь постольку, поскольку она-то и подтверждает установленную самой природой несправедливую аристократическую иерархию людского племени. Я понял это, когда мой крестный Шиммельпристер впервые чудесно перенес на полотно мой образ, сообщив ему идеально обобщающее значение, и укреплялся в этой мысли всякий раз, когда видел человека освободившимся, ну хотя бы в общественных банях, от всех случайных условностей и выступающим в том виде, в каком он родился. Вот почему я ощущал живую радость, даже гордость оттого, что мне надлежало предстать перед высокой комиссией не в случайном нищенском платье, а в моем истинном, первозданном обличье.

Узкой своей стороной закут примыкал к залу заседаний, и хотя дощатая стена и скрывала от моих глаз это судилище, но ухом я улавливал все, что там происходило. Я слышал, как штаб-лекарь отдавал команду рекруту повернуться направо, налево, стать так или этак, слышал отрывистые вопросы, которые он ему задавал, ответы этого малого и его неуклюжее бормотанье о воспалении легких, явно не произведшее должного впечатления, так как оно было сухо прервано заявлением о его безусловной годности. Этот вердикт был еще повторен каким-то другим голосом, засим последовала команда: «Можете быть свободным». И рекрут вошел ко мне: сухопарый юнец с бурой полосой вокруг шеи; у него были нескладные плечи, все в желтых пятнах, шершавые колени и большие красные ступни. Я боялся, как бы он в тесноте не коснулся меня, но в это самое мгновение какой-то гнусавый, хотя и резкий голос назвал мое имя, и унтер-офицер, появившийся в дверях, кивнул мне головой. Я вышел из-за дощатой стены, повернул налево и со скромным достоинством направился к тому месту, где меня ожидали врач и члены комиссии.

В такие минуты человек бывает слеп, и потому все, что я здесь увидел, лишь смутно запечатлелось в моем взбудораженном и в то же время ошеломленном мозгу; справа от меня, срезая угол, стоял длинный стол, за которым, нагнувшись над бумагами или откинувшись на спинки стульев, сидели какие-то господа в военном и штатском. На левом фланге я заметил врача, но разглядеть его мне не удалось, тем более что за его спиной находилось окно. Под всеми этими устремившимися на меня взглядами, голый, выставленный напоказ, я, точно в хмельном сне, чувствовал себя отрешенным ото всех людей и житейских условностей, безвозрастным, свободным и чистым; мне даже казалось, будто я парю в пространстве – чувство, о котором я вспоминаю не только без содрогания, а, напротив, с большим удовольствием. Как бы ни дрожали у меня руки и ноги, как бы учащенно ни билось сердце, дух мой теперь бодрствовал, более того, наслаждался покоем, и все, что я говорил и делал, было естественно и, к собственному моему удивлению, давалось мне легко, безо всяких усилий. Следствием долгой тренировки и добросовестного углубления в будущее неминуемо является то, что в решительный час человек пребывает в сомнамбулическом промежуточном состоянии между поступком и событием, действием и пассивностью, и это состояние уже не требует от нас внимательности, тем паче что действительность, как правило, предъявляет нам куда меньшие требования, чем те, к которым мы готовились, так что мы оказываемся в положении воина, отправившегося в битву до зубов вооруженным, тогда как на деле ему для победы достаточно иметь при себе всего лишь один какой-нибудь вид оружия. Тот, кто ставит на одного себя, всегда готовится к наитруднейшему, чтобы тем свободнее управиться с легким, и бывает рад, если ему для полного торжества достаточно пустить в ход самые простые средства, ибо грубые и яростные внушают ему отвращение и он прибегает к ним лишь в случае крайней нужды.

– Ну, это одногодичник, – проговорил за столом чей-то низкий, благожелательный голос, но тут же, к немалой моей досаде, я услышал, как другой, гнусавый и резкий, – однажды уже слышанный мной, – исправил его, заметив, что я обыкновенный рекрут.

– Подойдите ближе, – сказал штаб-лекарь. Голос у него был слабый и блеющий. Я охотно ему повиновался и, подойдя вплотную, с решимостью, может быть глуповатой, но не антипатичной, проговорил:

– Я по всем статьям годен к военной службе.

– Не вам это устанавливать, – досадливо возразил лекарь, при этом он вытянул шею и покачал головой. – Отвечайте на вопросы и воздержитесь от замечаний.

– Слушаюсь, господин главный врач, – тихо сказал я, хотя отлично знал, что он всего-навсего штаб-лекарь, и испуганно взглянул на него. Теперь я рассмотрел его лучше. Он был очень худ, и мундир сидел на нем мешковато. Рукава с отворотами до самого локтя были ему слишком длинны, так что из них высывались только костлявые пальцы. Узкая и жидкая борода, того же темно-бурого цвета, что и подстриженные ежиком волосы на голове, очень удлиняла его лицо; вдобавок он еще почти все время держал рот полуоткрытым, отчего щеки казались ввалившимися, а нижняя челюсть – отвисшей. На красной переносице штаб-лекаря сидело пенсне в серебряной оправе, до того погнутое, что одно стекло налезало на веко, а другое слишком далеко отстояло от глаза.

Такова была внешность моего партнера. Услышав мои слова, он осклабился и искоса посмотрел на сидящих за столом.

– Поднимите руки! Скажите, кем вы являетесь в гражданской жизни! – приказал он и тут же, как портной, обмерил мне грудь и спину зеленым сантиметром, испещренным белыми цифрами.

– В мои намерения входит служба при гостинице, – отвечал я.

– При гостинице? Так, так, входит в ваши намерения. И когда же вы полагаете приступить к ней?

– Я и мои родные полагаем, что я вступлю в должность по отбытии военной службы.

– Гм! О ваших родных я не спрашивал. Впрочем, кто они?

– Профессор Шиммельпристер – мой крестный отец, а мать – вдова фабриканта шампанских вин.

– Так, так, шампанских вин. А чем вы занимаетесь в настоящее время? Как у вас обстоит с нервной системой? Почему у вас дергается плечо?

И правда, покуда я стоял перед ним, мне вдруг почти безотчетно подумалось, что отнюдь не назойливое, но частое подергивание плечом будет здесь весьма уместно. Я вдумчиво ответил:

– Право же, я никогда не думал о своей нервной системе.

– В таком случае перестаньте дергаться!

– Есть, господин главный врач, – сконфуженно отвечал я, но тут же снова вздрогнул, на что он, впрочем, не обратил внимания.

– Я не главный врач, – проблеял он и при этом так сильно качнул склоненной головой, что пенсне едва не свалилось у него с переносицы, он поправил его всей пятерней правой руки, впрочем, совершенно напрасно, так как поднять голову он не догадался.

– Прошу прощения, – застенчиво прошептал я.

– Отвечайте на мой вопрос.

Я растерянно и непонимающе огляделся по сторонам и просительно взглянул на членов комиссии, в глазах которых, по моему мнению, читалось участие и любопытство.

– Я спрашивал, чем вы занимаетесь в настоящее время?

– Помогаю матери, – поспешил я ответить с радостной готовностью, – в ведении хозяйства большого пансиона для приезжающих во Франкфурте-на-Майне.

– Весьма похвально, – иронически заметил он и тотчас же приказал: – Кашляните! – так как уже успел приставить черный стетоскоп к моей груди.

Мне пришлось еще много раз кашлять, покуда он прикладывал этот аппарат к моему телу. Отложив стетоскоп, он вооружился маленьким молоточком, взятым со стоящего рядом столика, и принялся меня выстукивать.

– Болели вы когда-нибудь тяжелыми болезнями? – между делом осведомился он.

Я отвечал:

– Никак нет, господин полковой врач! Тяжелыми никогда не болел. Насколько мне известно, если не говорить о маленьких отклонениях от нормы, я совершенно здоров и пригоден к службе в любом роде войск.

– Да замолчите вы! – сказал он, внезапно прерывая выслушивание, и, не разгибая спины, злобно посмотрел на меня снизу вверх. – Предоставьте уж мне судить о вашей годности или негодности и не болтайте лишнего! Вы все время говорите то, о чем вас не спрашивают! – повторил он, прекращая обследование, выпрямился и отступил от меня на несколько шагов. – У вас какое-то недержание речи, я сразу это заметил. Что с вами такое? Где вы учились?

– Я кончил шесть классов реального училища, – тихонько отвечал я, явно огорченный тем, что не угодил ему.

– А почему не семь?

Я потупился и бросил на него исподлобья красноречивый взгляд, который мог бы пронять кого угодно. «Зачем ты мучаешь меня? – как бы спрашивал я этим взглядом. – Зачем заставляешь меня открыться? Разве ты не видишь, не слышишь, не чувствуешь, что перед тобой стоит юноша совсем особого душевного склада, под личиной благовоспитанности и приветливости скрывающий тяжкие раны, нанесенные ему беспощадной жизнью? Как же ты не чуток, если заставляешь меня обнажать мой позор перед лицом всех этих почтенных мужей!» – Таков был мой взгляд. И да поверит мне взыскательный читатель, он не лгал, хотя я сознательно и целеустремленно заставил его отобразить тоску и смятение. Ложь и притворство всегда легко обнаружатся, если ты воссоздаешь ощущение, тебе чуждое и незнакомое, во всех случаях сведутся к убогому кривлянию, к жалкому фарсу. Но неужели мы не вправе по мере надобности обращать себе во благо дорого доставшийся нам жизненный опыт? Мой печальный укоризненный, быстрый взгляд говорил о раннем знакомстве с уродливой жестокостью жизни. Затем я испустил тяжелый вздох.

– Отвечайте же, – повторил врач, несколько более мягким тоном.

Внутренняя борьба продолжалась во мне, когда я нерешительно заговорил:

– Я отстал и не смог закончить школу, так как часто пропускал занятия; периодические недомогания вынуждали меня оставаться в постели. Вдобавок учителя считали своим долгом ставить мне на вид недостатки внимательности и прилежания, что лишало меня последних сил и бодрости духа – ведь моей вины тут не было, как не было и небрежения своими обязанностями. На мою беду, я часто не слышал, что говорилось в классе, вернее – слышал, но не воспринимал. Мне, например, случалось не выполнять домашних заданий просто потому, что я ничего о них не знал; и не то чтобы голова моя была занята какими-нибудь посторонними, неподобающими мыслями, отнюдь нет, но получалось так, словно я не был в школе и не слышал ни объяснений по существу предмета, ни указаний учителя относительно того, что надо сделать дома. Это, конечно, вызывало раздражение педагогического персонала, с меня взыскивали очень строго, я же...

Тут слова у меня иссякли, я смешался, замолчал и как-то странно передернул плечами.

– Стоп! – сказал врач. – Вы что, туги на ухо, что ли? Отойдите-ка подальше! Повторяйте мои слова! – И он стал, нелепо артикулируя губами – тощая его бороденка при этом ходила ходуном – шептать различные числа, которые я точно и аккуратно повторял за ним; мой слух, как, впрочем, и остальные четыре чувства, искони отличался незаурядной остротой, и я не находил нужным это скрывать. Я повторял сложные числа, которые он, казалось, только чуть слышно выдыхал, и этот мой чудесный дар так его заинтересовал, что он положительно вошел в азарт: он отсылал меня в противоположный угол и на расстоянии шести или семи метров не столько произносил, сколько старался утаить четырехзначные цифры и время от времени, когда я почти наугад улавливал и повторял то, что он шептал почти не разжимая губ, многозначительно поглядывал на членов комиссии.

– Ну что ж, – сказал он наконец с наигранным безразличием, – слышите вы отлично. Подойдите сюда и поточнее объясните нам, в чем, собственно, выражалось недомогание, заставлявшее вас пропускать занятия в школе?

Я с готовностью приблизился.

– Наш домашний врач, санитарный советник Дюзинг, называл это своего рода мигренью.

– Так, так, у вас, значит, был домашний врач? Вы изволили сказать – санитарный советник. И он это называл мигренью! Хорошо, а как же она начиналась, эта ваша мигрень? Опишите нам весь приступ! Вы чувствовали головную боль...

– Да, головную боль тоже, – подтвердил я, почтительно и с удивлением взглянув на него, – и шум в ушах, но главным образом мучительную тоску, страх, вернее полнейший упадок сил, который вскоре переходил в страшные рвотные судороги, так что меня чуть ли не выбрасывало из кровати...

– Рвотные судороги? – переспросил он. – А других судорог не бывало?

– Нет, других не бывало, – уверенно отвечал я.

– Ну а шум в ушах?

– Шум в ушах очень мучил меня.

– А когда с вами случались эти припадки? После какого-нибудь сильного волнения? Или без всякого видимого повода?

– Если не ошибаюсь, – робея и озираясь по сторонам, отвечал я, – то это случалось обычно после того, как у меня бывали неприятности в классе, связанные с тем явлением, о котором я...

– С тем отсутствующим состоянием, когда вы не слышали или слышали, но не воспринимали того, что говорилось в классе?

– Да, господин старший врач.

– Гм, ну а теперь хорошенько подумайте и честно скажите нам, не замечали ли вы особых симптомов, которые бы постоянно предшествовали этому отсутствующему состоянию, как бы предупреждая вас о приближении приступа. Не стесняйтесь! Преодолейте свою вполне понятную робость и скажите откровенно, случалось ли вам замечать нечто подобное?

Я взглянул на него и довольно долгое время смотрел ему прямо в глаза, медленно, в тяжелом раздумье покачивая головой.

– Да, у меня частенько бывало как-то странно на душе, бывало и, к сожалению, бывает, – тихо и сосредоточенно проговорил я наконец. – Временами мне кажется, будто я стою возле раскаленной печки или у огня – таким жаром вдруг полыхнет на меня; сначала я чувствую его в ногах, затем он подымается выше. С этим ощущением связан еще какой-то зуд во всем теле, очень странный, так как одновременно у меня идут круги перед глазами, разноцветные, иногда даже красивые, но меня это все-таки пугает. А тело зудит так, если мне будет позволено еще раз коснуться этого явления, словно по нему расползлись муравьи.

– Гм. И после этого вы не слышите многого из того, что говорится вокруг?

– Так точно, господин начальник госпиталя. Я многого сам в себе не могу понять; даже в домашнем быту у меня случаются какие-то глупые неприятности: иногда, например, я потом сам это замечаю, у меня за столом вдруг выпадает ложка из рук и я обливаю скатерть супом, мать потом бранит меня – взрослый человек, а при гостях – кстати сказать, у нас преимущественно бывали артисты и ученые – не умеет прилично держать себя.

– Так, значит, ложка выпадает из рук! И вы не сразу это замечаете. А скажите, пожалуйста, советовались вы с вашим домашним врачом, этим самым санитарным советником или как там еще вы его титузуете, относительно таких не вполне нормальных явлений?

– Нет, – понурившись, отвечал я.

– А почему, собственно? – настаивал он.

– Я стыдился, – сказал я запинаясь, – и никому ничего не говорил, мне казалось, что лучше сохранить это в тайне. Кроме того, в душе я надеялся, что со временем моя болезнь пройдет. В жизни я не думал, что найду в себе силы признаться кому-нибудь, как странно я себя чувствую по временам.

– Гм, – пробурчал он, и его бороденка насмешливо задергалась. – Вы, видно, считали, что это всегда будут объяснять просто мигренью. Вы, кажется, сказали, – продолжал он, – что ваш отец был владельцем водочного завода?

– Да, то есть владельцем завода шипучих вин, – учтиво отвечал я, одновременно соглашаясь с ним и исправляя его.

– Да, да! Завод шипучих вин. И ваш батюшка, надо думать, отлично разбирался в винах?

– Ну, разумеется, господин штаб-лекарь! – радостно подтвердил я; члены комиссии заметно оживились. – Он был настоящим знатоком.

– И, наверно, себе он тоже не любил отказывать в стаканчике доброго вина и был, как говорится, достойным бражником перед ликом Господним?

– Мой отец, – отвечал я уклончиво и уже отнюдь не так бойко, – был воплощенной жизнерадостностью. Это не подлежит сомнению.

– Так, так, воплощенной жизнерадостностью. А отчего он умер?

Я не отвечал. Взглянул на него, потупился и только немного погодя дрогнувшим голосом сказал:

– Я просил бы господина штаб-лекаря, если возможно, не настаивать на этом вопросе...

– Вы здесь не вправе ничего утаивать, – строго проблеял он в ответ. – Если я спрашиваю – значит, эти сведения для нас существенны. Напоминаю вам, что в ваших интересах сообщить, отчего умер ваш отец.

– Он был похоронен по церковному обряду, – отвечал я; грудь у меня стеснило от волнения, я не мог ничего рассказать по порядку. – Я могу представить доказательства, бумаги, свидетельствующие о церковном погребении, а также о том, что за гробом шли многие офицеры и профессор Шиммельпристер. Его преподобие настоятель нашего собора отец Шато упомянул в своем надгробном слове, что револьвер выстрелил случайно, когда отец взял его, чтобы получше рассмотреть, а если у него дрогнула рука, если он в тот момент вообще не совсем владел собой, то это потому, что нас посетила великая беда... – Я сказал «посетила великая беда» и употребил еще несколько высокопарных и патетических выражений. – Разорение костлявой рукой постучалось в наши двери! – воскликнул я вне себя и для пущей наглядности постучал в воздухе согнутым пальцем, – ибо мой отец попался в сети злодеев; по милости этих кровопийц и душегубов все наше имущество было распродано, вывезено... даже... эолова... эолова арфа... – бессмысленно пробормотал я, чувствуя, что меняюсь в лице, так как сейчас должно было произойти то самое. – Эолова ар...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.